

Библиотека
психоанализа

Юлия
Кристева

Черное солнце

Депрессия
и меланхолия



Библиотека психоанализа

Юлия Кристева

**Черное солнце.
Депрессия и меланхолия**

«Когито-Центр»

1987

УДК 159.9
ББК 88

Кристева Ю.

Черное солнце. Депрессия и меланхолия / Ю. Кристева —
«Когито-Центр», 1987 — (Библиотека психоанализа)

ISBN 978-5-89353-326-2

Книга выдающегося французского психоаналитика, философа и лингвиста Ю. Кристевой посвящена теоретическому и клиническому анализу депрессии и меланхолии. Наряду с магистральной линией психоаналитического исследования ей удастся увязать в целостное концептуальное единство историко-философский анализ, символические, мистические и религиозные аллегории, подробный анализ живописи Гольбейна, богословско-теологические искания, поэзию Нерваля, мифические повествования, прозу Достоевского, особенности православного христианства, художественное творчество Дюрас. Книга будет с интересом прочитана не только специалистами-психологами, но и всеми, кто интересуется новейшими течениями в гуманитарных исследованиях. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 159.9
ББК 88

ISBN 978-5-89353-326-2

© Кристева Ю., 1987
© Когито-Центр, 1987

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	22
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Юлия Кристева

Черное солнце. Депрессия и меланхолия

Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Псалом Давида, 42: 6

Величие человека в том, что он знает о своем ничтожестве.
Паскаль. Мысли

*Быть может, всю свою жизнь ищешь только его и ничего больше
– наивеличайшее горе, дабы стать самим собой, прежде чем умереть.*
Селин. Путешествие на край ночи

Глава 1

Психоанализ как контрдепрессант

Писать о меланхолии для тех, кого меланхолия опустошает, имеет смысл, только если это идет от самой меланхолии. Я пытаюсь сказать вам о бездонной печали, той несообщаемой боли, которая порой поглощает нас – и зачастую на длительное время, – заставляя потерять вкус к любой речи, любому действию, вкус к самой жизни. Это отчаяние – не отвращение, которое предполагало бы, что я остаюсь способной к желанию и творению, пусть и негативным, но, несомненно, существующим. В депрессии, когда само мое существование готово рухнуть, его бессмыслица не трагична – она представляется мне очевидной, оглушающей и неизбежной.

Откуда поднимается это черное солнце? Из какой безумной галактики его тяжелые невидимые лучи доходят до меня, пригвождая к земле, к постели, обрекая на немоту и отказ?

Только что полученная мною травма – например, любовная или профессиональная неудача, какие-то горе или печаль, затрагивающие мои отношения с близкими, – все это часто оказывается лишь легко определенным спусковым крючком моего отчаяния. Предательство, смертельная болезнь, несчастный случай или увечье, внезапно отрывающие меня от той категории нормальных людей, которая представлялась мне нормальной, или же обрушивающиеся с тем же самым эффектом на дорогое мне существо, или наконец – что еще?... Бесконечен список несчастий, гнетущих нас изо дня в день... Все это внезапно наделяет меня другой жизнью. Жизнью, жить которой нельзя, жизнью, нагруженной ежедневными заботами, проглоченными или пролитыми слезами, неразделенным отчаянием – порой жгучим, но иногда бесцветным и пустым. В общем – безжизненным существованием, которое, перевозбуждаясь из-за усилий, прилагаемых мною, чтобы просто длить его, в каждое мгновение готово соскользнуть в смерть. Смерть-отмщение или смерть-избавление – отныне внутренний порог моей подавленности, невозможный смысл этой жизни, чье бремя ежесекундно представляется мне невыносимым, за исключением тех моментов, когда я мобилизуюсь, дабы противостоять катастрофе. Я живу живым мертвецом, оторванным, кровоточащим, обращенным в труп куском плоти, в замедленном ритме или в промежутке, в стертом или раздутom времени, поглощенном болью... Непричастная чужому смыслу, чуждая и случайная для наивного счастья, я извлекаю из своей хандры высшую, метафизическую ясность. На границах жизни и смерти меня иногда охватывает горделивое ощущение, что я – свидетель бессмыслицы Бытия, откровения абсурдности всех связей и существ.

Моя скорбь – скрытая сторона моей философии, ее немая сестра. Кроме того, тезис «философствовать – это учиться умирать» нельзя было бы понять без меланхолического принятия боли и ненависти, кульминацией которого станет «забота» Хайдеггера и открытие нашего «бытия-к-смерти». Без предрасположенности к меланхолии не существует психики, отыгрывания или игры.

Однако сила событий, которые вызывают у меня депрессию, часто не соответствует тому ощущению бедствия, которое меня затопляет. Более того, кажется, что разочарование, которое я испытываю здесь и сейчас, каким бы жестоким оно ни было, входит в резонанс, вступает в связь с травмами, траур по которым, как я понимаю, я так и не сумела завершить. Предпосылки своего теперешнего крушения я могу найти в потере, смерти кого-то или чего-то, что я некогда любила, или же в трауре по ним. Исчезновение этого необходимого существа по-прежнему лишает меня наиболее ценной части меня самой: я живу как рана или лишение, дабы в какой-то момент открыть, что моя боль – лишь отсрочка ненависти или желания заполучить власть над теми, что покинули меня. Моя депрессия показывает, что я не умею терять: быть может, я не смогла найти для потери достойной замены? Отсюда следует, что всякая потеря

влечет потерю моего существа – и самого Бытия. Депрессивный человек оказывается сумрачным радикальным атеистом.

Меланхолия – темная подоснова любовной страсти

Печальная чувственность, мрачное опьянение образуют заурядный фон, на котором подчас вырисовываются наши идеалы или наши эйфории, когда им не случается быть тем неуловимым прояснением, которое разрывает любовный гипноз, притягивающий двух людей друг к другу. Осознавая, что мы обречены терять своих возлюбленных, еще больше мы, возможно, опечалены тем, что замечаем в возлюбленном тень любимого и давно потерянного объекта. Депрессия – это скрытое лицо Нарцисса, то, что увлечет его к смерти и которое неведомо ему в тот момент, когда он любит себя собой в отражении. Разговор о депрессии снова заведет нас в топкую страну нарциссического мифа¹. Но на этот раз мы увидим в нем не обескураживающую и хрупкую любовную идеализацию, но – напротив – тень, брошенную на неустойчивое Я, едва отделенное от другого именно *потерей* этого необходимого другого. Тень отчаяния.

Вместо того чтобы искать смысл отчаяния (он очевиден или метафизичен), признаем, что смысл есть только у отчаяния. Ребенок-король становится безутешно печальным, прежде чем произнесет свои первые слова: именно то, что теперь он безвозвратно, безнадежно отделен от собственной матери, подталкивает его к тому, чтобы попытаться обрести ее, как и другие объекты любви, – сначала в собственном воображении, а затем в словах. Семиология, занимающаяся нулевой степенью символизма, неминуемо приходит к вопросу не только о состоянии любви, но и о его бледной спутнице – меланхолии, дабы сразу же заметить, что если не существует письма, которое не было бы любовным, не существует и воображения, которое явно или тайно не было бы меланхоличным.

Мысль–кризис–меланхолия

Однако меланхолия – явление не французское. Строгость протестантизма или же матриархальный груз православия с гораздо большей легкостью вступают в сговор с индивидуумом, погруженным в траур, когда они не склоняют его к угрюмому смакованию. И если верно, что французское Средневековье демонстрирует нам печаль в облике утонченных фигур, то галльский тон, вечно возрождающийся и просветленный, больше родствен юмору, эротике и риторике, а не нигилизму. Паскаль, Руссо и Нерваль составляют печальную фигуру и... исключение.

Для говорящего существа жизнь – это жизнь, у которой есть смысл: жизнь образует саму вершину смысла. Поэтому если оно теряет смысл жизни, сама жизнь тут же теряется – разбитый смысл угрожает жизни. В эти моменты неопределенности депрессивный больной становится философом, и мы обязаны Гераклиту, Сократу и более близкому к нам в историческом отношении Кьеркегору крайне резкими текстами, посвященными смыслу и бессмыслице Бытия. Однако следует вернуться к Аристотелю, чтобы найти рассуждение о тех отношениях, которые философы поддерживают с меланхолией. Согласно «*Problemata*»² (30, I), приписываемым Аристотелю, черная желчь (*melaina kole*) характеризует великих людей. В (псевдо)аристотелевском рассуждении рассматривается вопрос *ethos-perriton*, исключительной личности, которой якобы свойственна меланхолия. Продолжая опираться на понятия Гиппократовы (четыре жизненных сока и четыре темперамента), Аристотель вводит кое-что новое, отделяя мелан-

¹ См.: Kristeva J. Histoires d'amour. P.: Denoël, 1983.

² «Проблемы» – псевдоаристотелевский трактат, предположительно созданный уже в Средневековье. – Прим. пер.

холию от патологии, помещая ее в природу и – главное – утверждая, что она происходит из *теплоты*, которая считается регулирующим принципом всего организма, и из *mesotes*, управляемого взаимодействия двух противоположных энергий. Это греческое понятие меланхолии сегодня нам чуждо – оно предполагает «хорошо отмеренное уклонение» (*eukratos anomalia*), метафорически выражающееся в пене (*aphros*), эйфорическом контрапункте черной желчи. Эта белая смесь воздуха (*pneuma*) и жидкости заставляет пениться море, вино, а также мужскую сперму. В действительности Аристотель объединяет научное изложение с ссылками на мифы, связывая меланхолию с пенной спермой и эротизмом и открыто ссылаясь на Диониса и Афродиту (953b, 31–32). Рассматриваемая им меланхолия – это не болезнь философа, а сама его природа, его *ethos*. Это не та меланхолия, которая поражает первого греческого меланхолика, Беллерофонта, о котором нам рассказывает «Илиада» (VI, 200–203): «Став напоследок и сам небожителем всем ненавистен, / Он по Алейскому полю скитался кругом, одинокий, / Сердце глодая себе, убегая следов человека»³. Аутофаг – оставленный богами, изгнанный божественным постановлением, этот отчаявшийся был обречен не на безумие, а на отчуждение, на отсутствие, на пустоту... У Аристотеля меланхолия, уравнивающая гением, становится равнообъемной тревоге человека, заброшенного в Бытие. В ней можно увидеть предвестие хайдеггеровской тревоги как *Stimmung*⁴ мысли. А Шеллинг сходным образом обнаружил в ней «сущность человеческой природы», знак «симпатии человека к природе». Поэтому философ должен быть «меланхоликом из-за переизбытка человечности»⁵.

Это понимание меланхолии как пограничного состояния и исключительного качества, открывающего истинную природу бытия, претерпело глубокое изменение в Средние века. С одной стороны, средневековое мышление возвращается к космологиям поздней античности и связывает меланхолию с Сатурном, планетой духа и мысли⁶. «Меланхолии» Дюрера (1514) удастся полностью переместить все эти теоретические спекуляции, достигшие своего апогея у Марсилио Фичино, в пластические искусства. С другой стороны, христианская теология считает печаль грехом. Данте помещает «стенающие толпы, потерявшие благо рассудка» в «скорбном граде» («Ад», песнь III). «Тяжесть на сердце» означает потерю Бога, поэтому меланхолики образуют «секту жалких людей, злых и на Бога, и на его врагов» – наказание состоит в том, что у них «отнята всякая надежда на смерть». Нельзя пощадить и тех, кого отчаяние подтолкнуло к насилию против самих себя, то есть самоубийц и расточителей – они осуждены на превращение в деревья (песнь XIII). Однако средневековые монахи начинают практиковать печаль – в качестве мистической аскезы (*acedia*) она окажется средством парадоксального познания божественной истины и определит главное испытание веры.

Меланхолия, изменяющаяся в зависимости от религиозного климата, если можно так сказать, утверждается в религиозном сомнении. Нет ничего более грустного, чем мертвый Бог, и даже Достоевский будет ошеломлен душераздирающим изображением мертвого Христа на картине Гольбейна-мл., противопоставленным «истине воскрешения». Эпохи, когда наблюдается крушение религиозных и политических идолов, эпохи кризиса особенно склонны к черной желчи. Верно, что безработный не так склонен к самоубийству, как оставленный любовник, однако в периоды кризиса меланхолия становится навязчивой, она высказывается, обращается к собственной археологии, производит представления и знания о себе. Записанная меланхолия, конечно, уже не имеет большого отношения к клиническому оцепенению, которое носит то же самое название. За пределами терминологического смешения, которое до сего момента мы сохраняли (что такое меланхолия? что такое депрессия?), сталкиваемся мы с зага-

³ Перевод Н. И. Гнедича. – Прим. пер.

⁴ Настроение, настрой (Хайдеггер) (нем.). – Прим. пер.

⁵ См.: La Melanconia dell'uomo di genio. Ed. Il Melangolo, a cura di Carlo Angelino / Ed. Enrica Salvaneschi. Genova, 1981.

⁶ О меланхолии в истории идей и искусств см. фундаментальную работу: Klibanski K., Panofski E., Saxi Fr. Saturn and Melancholy / Ed. T. Nelson. 1964.

дочным парадоксом, который не перестанет нас озадачивать: хотя потеря, горе и отсутствие запускают работу воображения и постоянно питают его, постоянно угрожая ему и низвергая его, стоит заметить и то, что именно из отказа признать это мобилизующее горе воздвигается фетиш произведения. Именно художник, снедаемый меланхолией, с наибольшим ожесточением сражается с символическим отвержением, обволакивающим его... Пока его не поразит смерть или пока самоубийство – как это случается с некоторыми – не станет неотвратимым как окончательный триумф над небытием потерянного объекта...

Меланхолия/депрессия

«Меланхолией» мы будем называть клинический комплекс симптомов, включающих торможение и асимболию и проявляющихся у определенного индивидуума временами или хронически, чередуясь чаще всего с так называемой маниакальной стадией экзальтации. Когда два явления – подавленность и возбуждение – характеризуются меньшими интенсивностью и частотой, тогда можно говорить о невротической депрессии. Не отказываясь от различия меланхолии и депрессии, теория Фрейда повсюду обнаруживает один и тот же *невозможный траур по материнскому объекту*. Вопрос: невозможный в силу какого-то родительского недостатка? Или какой-то биологической хрупкости? Меланхолия – воспользуемся снова этим общим термином, после того как мы различили психотические и невротические симптомы, – обладает устрашающей привилегией помещать вопрошание аналитика на перекрестье биологического и символического. Параллельные серии? Последовательные ряды? Случайное пересечение, которое необходимо уточнить, или какое-то иное отношение, которое еще предстоит изобрести?

Два термина – «меланхолия» и «депрессия» – обозначают комплекс, который можно было бы назвать депрессивно-меланхолическим и границы которого на самом деле являются нечеткими. В его пределах психиатрия использует понятие «меланхолия» только для спонтанно развивающейся необратимой болезни (которая поддается лечению лишь антидепрессантами). Не углубляясь в подробности различных типов депрессии (депрессии «психотической» или «невротической», или – по другой классификации – «тревожной», «возбужденной», «заторможенной» или «враждебной»), не затрагивая также и весьма многообещающую, но пока еще неясную область изучения воздействия антидепрессантов (МАО-ингибиторы, трициклические и гетероциклические соединения), мы в дальнейшем ограничимся *фрейдовским горизонтом*. Отправляясь от него, мы попытаемся выделить то, что внутри депрессивно-меланхолического комплекса – сколь бы нечеткими ни были его границы – относится к общему опыту *потери объекта*, а также *модификации означающих связей*. Последние – и, в частности, язык – в депрессивно-меланхолическом комплексе оказываются неспособными обеспечить аутостимуляцию, необходимую для запуска некоторых реакций. Язык, вместо того чтобы работать в качестве «системы компенсаций», напротив, гиперактивирует связку тревоги – наказания, включаясь таким образом в процесс замедления поведения и мышления, характерный для депрессии. Хотя временная печаль (или траур) и меланхолическое оцепенение отличаются друг от друга в клиническом и нозологическом отношениях, они, однако, в равной степени поддерживаются нетерпимостью к *потере объекта* и *провалом означающего* при попытке найти компенсаторный выход из состояний ухода в себя, так что в итоге субъект замыкается в себе вплоть до полного бездействия, притворяясь мертвым или даже убивая себя. Таким образом, мы будем говорить о депрессии и меланхолии, не различая каждый раз частные особенности этих двух состояний, но имея в виду их общую структуру.

Депрессивный больной: ненавидящий или раненный. «Объект» и «вещь» траура

Согласно классической психоаналитической теории (Абрахам⁷, Фрейд⁸, М. Кляйн⁹), депрессия, как и траур, скрывает агрессивность по отношению к потерянному объекту и, таким образом, проявляет амбивалентное отношение депрессивного человека к объекту своего траура. «Я его люблю (так, кажется, говорит депрессивный больной о каком-то существе или потерянном объекте), но еще больше я его ненавижу; поскольку я его люблю, то, чтобы его не потерять, я помещаю его в себя; но поскольку я его ненавижу, этот другой во мне оказывается плохим Я, то есть, я плохой, я ничтожен, и я себя убиваю». Жалоба на себя, следовательно, оказывается жалобой на другого и умертвление себя – трагической маскировкой убийства другого. Подобная логика, как мы понимаем, предполагает наличие сурового Сверх-Я и всю диалектику сложных отношений идеализации и обесценивания себя и другого, причем вся совокупность этих движений покоится на механизме *идентификации*. Ведь именно благодаря моей идентификации с этим ненавидимым-любимым другим, осуществляемой благодаря инкорпорации–интропроекции–проекции, я помещаю в самого себя его лучшую часть, которая становится моим тираническим и неумолимым судьей, – так же как я помещаю в себя и его отвратительную часть, которая унижает меня и которую я стремлюсь уничтожить. Следовательно, анализ депрессии проходит через обнаружение того факта, что жалоба на себя является ненавистью к другому, а последняя, несомненно, – волна, несущая неосознанное сексуальное желание. Понятно, что подобное перемещение ненависти в процессе переноса является рискованным и для психоаналитика, и для пациента, так что терапия депрессии (даже той, что называют невротической) граничит с шизоидным раздроблением.

Отмеченный Фрейдом и Абрахамом меланхолический каннибализм, который обнаруживается в определенном числе сновидений и фантазмов¹⁰ депрессивных людей, выражает эту страсть удержания во рту (хотя вагина и анус также могут поддаваться подобному управлению) невыносимого другого, которого я желаю разрушить, дабы с большим успехом владеть им живым. Другого – скорее раздробленного, разорванного, разрезанного, проглоченного и переваренного... чем потерянного. Меланхолическое каннибальское воображаемое¹¹ является отрицанием реальности потери, а также смерти. Оно демонстрирует боязнь потерять другого при обеспечении выживания Я, которое, конечно, брошено, однако не отделено от того, кто все еще и постоянно питает его и превращается в него, тем самым воскресая – благодаря этому пожиранию.

Однако лечение нарциссических больных заставило современных психоаналитиков открыть другую модальность депрессии¹². В ней печаль (ни в коем случае не являясь скрытой атакой против воображаемого другого, который враждебен, поскольку фрустрирует) должна быть сигналом первичного уязвленного Я – неполного и пустого. Подобный индивидуум не

⁷ См.: Abraham K. Préliminaires à l'investigation et au traitement psychanalytique de la folie maniaco-dépressive et des états voisins (1912) // Œuvres complètes. P.: Payot, 1965. T. I. P. 99–113.

⁸ См.: Freud S. Deuil et mélancolie (1917) // Métapsychologie. P.: Gallimard, 1968. P. 147–174; S. E. T. XIV. P. 237–258; G. W. T. X. P. 428–446.

⁹ См.: Klein M. Contribution à l'étude de la psychogenèse des états maniaco-dépressifs (1934); Le deuil et ses rapports avec les états maniaco-dépressifs // Essais de psychanalyse. P.: Payot, 1967. P. 311–340, 341–369.

¹⁰ См. ниже гл. III, p. 86.

¹¹ Как это подчеркивается Пьером Фелида: *Félida Pierre. Le cannibalisme mélancholique* // L'Absence. P.: Gallimard, 1978. P. 65.

¹² См.: Jacobson E. Depression, Comparative studies of normal, neurotic and psychotic condition. N. Y.: Int. Univ. Press, 1977; Trad. franç. Payot, 1984; Grunberger B. Études sur la dépression; Le suicide du mélancholique // Le Narcissisme. P.: Payot, 1975; Rosolato G. L'axe narcissique des dépressions // Essais sur le symbolique. P.: Gallimard, 1979.

считает, что ему нанесен ущерб; он считает себя пораженным неким фундаментальным недостатком, врожденной нехваткой. Его горе не скрывает виновность или вину, обусловленную тайно замышляемой мстью амбивалентному объекту. Скорее, его печаль может быть наиболее архаичным выражением нарциссической травмы, несимволизируемой, неименоваемой – столь ранней, что ее нельзя соотнести ни с каким внешним агентом (субъектом или объектом). У депрессивного человека, склонного к нарциссизму, печаль на самом деле является его единственным объектом, – точнее, она оказывается эрзацем объекта, к которому он привязывается, которого он приручает и лелеет за недостатком другого. В этом случае самоубийство – не замуфлированный акт агрессии, а воссоединение с печалью и с тем, что по ту сторону от нее, с невозможной и навеки неприкосновенной, навсегда удалившейся любовью – вот что обещает небытие, смерть.

Вещь и Объект

Депрессивный человек со склонностью к нарциссизму оплакивает не Объект, а Вещь¹³. Будем называть Вещью реальное, противящееся означиванию, полюс притяжения и отталкивания, обитель сексуальности, из которой будет выделен объект желания.

Ослепляющая метафора ее дана Нервалем, указывающим на настойчивость без присутствия, на свет без представления: Вещь – это солнце в сновидении, ясное и черное одновременно. *«Каждому известно, что в снах мы никогда не видим солнца, хотя часто у нас появляется восприятие гораздо более яркого света»*¹⁴.

На основании этой архаической привязки у больного депрессией вырабатывается впечатление, будто он лишен некоего невыразимого высшего блага, чего-то непредставимого, что изобразить могло бы, видимо, одно лишь пожирание, указать на что могло бы только *закливание*, но ни одно слово не способно его обозначить. Поэтому никакой эротический объект не сможет заместить для него незаменимое восприятие места или до-объекта, заключающих либидо в узилище и обрезающих связи желания. Зная, что он лишен своей Вещи, больной депрессией бросается на поиски приключений и любви, которые всегда оказываются разочаровывающими, или же, отчаявшийся и лишенный дара речи, замыкается наедине со своей неименоваемой Вещью. «Первичная идентификация» с «отцом из личной предыстории»¹⁵ может быть средством, показателем единения, которое позволило бы ему завершить траур по Вещи. Первичная идентификация запускает компенсацию за Вещь и одновременно начинает привязывать субъекта к другому измерению – измерению воображаемого присоединения, которое отчасти напоминает связь веры, которая у больного депрессией как раз и рвется.

У меланхолика первичная идентификация оказывается хрупкой и неспособной обеспечить иные идентификации, в том числе те символические идентификации, на основании которых *эротическая Вещь* могла бы превратиться в *Объект желания*, захватывающий

¹³ Констатируя, что со времени зарождения греческой философии схватывание *вещи* взаимосвязано с высказыванием суждения и его истиной, Хайдеггер, однако, открывает вопрос об «историчном» характере вещи: «Вопрос по направлению к вещи приходит в движение из глубины его начала» (Qu'est-ce qu'une chose? / Trad. franç. P.: Gallimard, 1965. P. 57). Не углубляясь в историю начала этой мысли о вещи, но открывая ее в промежутке, который образуется между человеком и вещью, Хайдеггер отмечает, перечисляя Канту: «Этот интервал [человек–вещь] как пред-схватывание распространяет свою хватку по ту сторону вещи в то самое время, когда в возвратном движении он схватывает нас сзади». В бреши, открытой вопросом Хайдеггера, следовавшем однако за выполненным Фрейдом сокрушением рациональных достоверностей, мы будем говорить о *Вещи*, понимая под ней «какую-то вещь», «нечто», которое, мельком увиденное в ретроспективе уже заданным субъектом, представляется как нечто неопределенное, неотделенное, несхватываемое, в том числе и в определении самой сексуальной вещи. Термин Объект мы будем использовать только для пространственно-временного постоянства, которое верифицируется суждением, высказанным субъектом, который остается хозяином своей речи.

¹⁴ Nerval. Aurélia // Œuvres complètes. La Pléiade. P.: Gallimard, 1952. T. I. P. 377.

¹⁵ См.: Freud S. Le moi et le ça (1923) // Essais de psychanalyse. P.: Payot, 1976. P. 200; S. E. T. XIX. P. 31; G. W. T. XIII. P. 258.

и гарантирующий непрерывность метонимии удовольствия. Меланхолическая вещь прерывает метонимию желания, а также противопоставляет себя внутриспсихической проработке потери¹⁶. Как приблизиться к этому месту? Сублимация – попытка, направленная на эту цель: благодаря своим мелодиям, ритмам, семантическим многозначностям так называемая поэтическая форма, разделяющая и перерабатывающая знаки, оказывается единственным «вместилищем», которое, похоже, обеспечивает ненадежное, но адекватное овладение Вещью.

Мы предположили, что больной депрессией – атеист, лишенный смысла, лишенный ценностей. Он как будто принижает себя из страха или неведения Потустороннего. Между тем, каким бы атеистом он ни был, отчаявшийся является мистиком – он цепляется за свой до-объект, не веря в Тебя, но будучи немой и непоколебимым адептом своего собственного невысказываемого вместилища. Именно эту юдоль необычного освящает он своими слезами и своим наслаждением. В этом напряжении аффектов, мускулов, слизистых оболочек и кожных покровов он испытывает одновременно принадлежность и удаленность по отношению к архаическому другому, который пока ускользает от репрезентации и именованья, но отпечаток которого несут его телесные выделения и их автоматизм. Больной депрессией, не доверяющий языку, чувствителен и, конечно, уязвлен, но все же он пленник аффекта. Аффект – вот его вещь.

Вещь вписывается в нас без воспоминания, тайная сообщница наших невыразимых тревог. Воображают о радостях встречи после разлуки, которые обещаны регрессивными мечтаниями, требующими венчания с самоубийством.

Появление Вещи мобилизует в образующемся субъекте его жизненный порыв: недоношенный, каковым является каждый из нас, выживает, только цепляясь за другого, воспринимаемого как дополнение, протез, защитная оболочка. Однако, это влечение к жизни является в высшей степени тем, что *в то же самое время* меня отвергает, меня изолирует, отвергает его/ее). Никогда двусмысленность влечений не страшна так, как в этом начале инаковости, где, не имея фильтра языка, я не могу вписать мое насилие в «нет», да и ни в какой иной знак. Я могу лишь извергнуть его жестами, спазмами, криками. Я выталкиваю его, проецирую. Моя необходимая вещь также неизбежно оказывается и моим врагом, моим пугалом, притягательным полюсом моей ненависти. Вещь отпадает от меня при продвижении этих аванпостов означивания, на которых Глагол еще не стал моим Бытием. Вещь, то есть ничто, которое и есть причина и в то же время отпадение, прежде чем стать Другим, оказывается сосудом, который содержит мои отбросы и все то, что происходит от *cadere*¹⁷, – это отброс, с которым я смешиваюсь в печали. Мерзость библейского Иова.

¹⁶ Наш тезис следует отличать от тезиса Лакана, когда тот комментирует понятие «Ding» на основе фрейдовского «Entwurf»: «Это *das Ding* не в отношении, в каком-то смысле рефлексивном, поскольку оно раскрываемо, – отношении, которое заставляет человека ставить под вопрос свои слова, которые якобы ссылаются на вещи, которые они однако же и создали. В *das Ding* есть другая вещь. То, что есть в *das Ding*, – это настоящий секрет <...> Нечто, что желает. Одна нужда, а не *multiple* потребности, чрезвычайность, неотложность. Состояние *Not des Lebens* – это чрезвычайное положение самой жизни <...> количество энергии, сохраненной организмом в соответствии с реакцией и необходимой для сохранения жизни» (L'éthique de la psychanalyse. Séminaire de 9 décembre 1959. P.: Seuil, 1986. P. 58 sq.). Речь тут должна идти о психических вписываниях (*Niederschrift*) до четырехлетнего возраста, которые для Лакана всегда являются «вторичными», но при этом близкими к «качеству», «усилию», «эндопсихике». «Ding как *Fremde*, как чуждое и временами даже враждебное, во всяком случае как первое внешнее <...> – именно этот объект, *das Ding* как абсолютно Другое субъекта как раз и требуется обрести. Он обретается самое большее как сожаление <...> И в этом состоянии стремления к нему и его ожидания будет искаться – во имя принципа удовольствия – то оптимальное напряжение, ниже которого не существует ни восприятия, ни усилия» (р. 65). И еще более ясно: «*Das Ding* исходно является тем, что мы, следовательно, называем вне-означаемым. Именно в зависимости от этого вне-означаемого и от патетического отношения к нему субъект сохраняет свою дистанцию и складывается в этом мире отношения, первичного аффекта, предшествующего всякому вытеснению. Вокруг этого вращается вся первичная артикуляция *Entwurf*» (р. 67–68). Однако, если Фрейд подчеркивает тот факт, что Вещь представляется только как *крик*, Лакан переводит его «словом», играя на двусмысленности французского термина «mot [„слово“]» («слово – это то, что умалчивается», «ни одно слово не произносится»). «Вещи, о которых идет речь <...> – это вещи, которые немые. А немые вещи – это совсем не то же самое, что вещи, которые не имеют никакого отношения к словам» (Ibid. P. 68–69).

¹⁷ Падать, отпадать (лат.). – Прим. пер.

При водружении этой Вещи (которая для нас – и своя, и чужая) мобилизуется анальность. Меланхолику, припоминающему этот предел, на котором вычленяется его Я, одновременно обрушивающееся в обесценивание, не удастся мобилизовать свою анальность, дабы сделать из нее прибор для отделений и проведения границ – тот, что действует в обычном случае или даже выходит на первый план у страдающего навязчивыми состояниями. Напротив, у больного депрессией все его Я погружается в деэротизированную анальность, которая, однако, представляется ликующей, поскольку стала вектором наслаждения в слиянии с архаической Вещью, воспринимаемой не в качестве значащего объекта, а в качестве приграничного элемента Я. Для больного депрессией Вещь, как и я, – это выпадения, которые увлекают его к невидимому и неименованному. *Cadere*. Сплошные отбросы, сплошные трупы.

Влечение к смерти как первичное вписывание разрыва (травмы или потери)

Фрейдовский постулат *первичного мазохизма* смыкается с некоторыми аспектами нарциссической меланхолии, в которой угасание любой либидинальной связи не столько представляется всего лишь обращением агрессивности по отношению к враждебному объекту на самого себя, сколько с неизбежностью предшествует любой возможности полагания объекта.

Понятие «первичного мазохизма», введенное в 1915 году¹⁸, утверждается в связи с появлением в работах Фрейда, и особенно – в «Экономической проблеме мазохизма» (1924), «влечения к смерти»¹⁹. Фрейд, обративший внимание на то, что живое существо возникает после неживого, думает, что у этого существа должно присутствовать специфическое влечение, которое *«стремится вернуться к предшествующему состоянию»*²⁰. После работы «По ту сторону принципа удовольствия» (1920)²¹, в которой влечение к смерти представляется в качестве стремления вернуться к неорганическому состоянию и гомеостазу, противопоставляемому эротическому принципу разрядки и связывания, Фрейд постулирует, что некая часть влечения к смерти или к разрушению направляется на внешний мир через мускульную систему и преобразуется во влечение к разрушению, овладению или в сильную волю. Такое влечение, служащее сексуальности, формирует садизм. При этом он отмечает, что «другая часть не участвует в этом смещении *вовне: она остается в организме и там она связывается либидинально <...> и именно в ней должны мы распознать исходный эрогенный мазохизм*»²². Поскольку ненависть к другому уже рассматривалась как то, что «старше любви»²³, не указывает ли это *мазохистское удержание ненависти* на существование ненависти еще более архаичной? Фрейд, видимо, согласен с этим – он и в самом деле считает влечение к смерти проявлением внутриспсихического филогенетического наследия, восходящего к неорганической материи. Однако, независимо от этих спекуляций, которые после Фрейда не нашли большой поддержки у психоаналитиков, можно констатировать если не предшествование, то, по крайней мере, силу разложения связей во множестве психических структур и проявлений. Кроме того, частота мазохизма, негативная реакция на терапию, а также разнообразные патологии раннего детства, которые,

¹⁸ См.: Freud S. Pulsions et destin des pulsions // Métapsychologie. Coll. Idées. P.: Gallimard. P. 65; S. E. T. XIV. P. 139; G. W. T. X. P. 232.

¹⁹ См.: Freud S. Le problème économique du masochisme // Névrose, Psychose et Perversion. P.: P. U. F., 1973. P. 287–297; S. E. T. XIX. P. 159–170; G. W. T. XIII. P. 371–383.

²⁰ См.: Freud S. Abrégé de psychanalyse // Résultats. Idées. Problèmes. T. II. P.: P. U. F., 1985. P. 97–117; S. E. T. XXIII. P. 139–207; G. W. T. XVII. P. 67–138.

²¹ См.: Freud S. Au-delà du principe de plaisir // Essais de psychanalyse. Op. cit. P. 7–81; S. E. T. XVIII. P. 7–64; G. W. T. XIII. P. 3–69.

²² Le problème économique du masochisme // Op. cit. P. 291; S. E. T. XIX. P. 163; G. W. T. XIII. P. 376 (Курсив мой. – Ю. К.).

²³ Pulsions et destin des pulsions // Op. cit. P. 64; S. E. T. XIV. P. 139; G. W. T. X. P. 232.

видимо, предшествуют объектным отношениям (детские анорексии, мерицизм и некоторые формы аутизма), побуждают согласиться с идеей влечения к смерти, которое, проявляясь в качестве биологической и логической неспособности передавать психическую энергию и психические вписывания, должно вести к разрушению связей и циркуляции. Фрейд пишет о нем так: *«Если взять во всей ее полноте картину, на которой собраны проявления имманентного мазохизма у такого количества лиц, проявление отрицательной реакции на терапию, а также присущего невротикам сознания вины, невозможно будет не распрощаться с верой в то, что ход психических событий управляется исключительно стремлением к удовольствию. Эти явления – бесспорные признаки существования в жизни души силы, которую, оценивая ее цели, мы называем влечением к агрессии или разрушению и которую мы выводим из изначального влечения к смерти, присущего одушевленной материи»*²⁴.

Нарциссическая меланхолия должна демонстрировать это влечение к собственному разъединению с влечением к жизни – Сверх-Я представляется Фрейду «культурой влечения к смерти»²⁵. Но вопрос остается: противоположна ли эта меланхолическая деэротизация принципу удовольствия? Или же она, напротив, является неявно эротической, что означало бы, что меланхолическое отступление всегда является обращением объектного отношения, метаморфозой ненависти к другому? В работах Мелани Кляйн, которая придавала наибольшее значение именно влечению к смерти, эта деэротизация, похоже, в большинстве случаев становится зависимой от объектного отношения, так что и мазохизм, и меланхолия представляются вариантами интроекции плохого объекта. Однако в рассуждении Кляйн допускаются ситуации, в которых эротические связи обрезаны, но неясно, не существовало ли их вообще никогда или же они были разорваны (в последнем случае именно интроекция проекции должна привести к такому эротическому деинвестированию).

В особенности нам следует отметить понятие расщепления, введенное Кляйн в 1946 году. С одной стороны, в определении этого понятия осуществляется сдвиг от депрессивной позиции назад, к позиции параноидной и шизоидной, более архаичной. С другой стороны, оно различает бинарное расщепление (различие между «хорошим» и «плохим» объектом, обеспечивающее единство Я) и дробящее расщепление, распространяющееся уже не на объект, но как раз на само Я, которое буквально «разваливается на куски» (*falling into pieces*).

Интеграция/не-интеграция/дезинтеграция

В нашем обсуждении чрезвычайно важно отметить, что это раздробление может быть обусловлено как *не-интеграцией* влечений, препятствующей сцеплению Я, так и *дезинтеграцией*, сопровождаемой тревогами и вызывающей шизоидную фрагментацию²⁶. Согласно первой гипотезе (которая, видимо, была позаимствована у Винникотта), не-интеграция следует из биологической незрелости: если в этой ситуации можно говорить о Танатосе, влечение к смерти представляется биологической неспособностью к последовательности операций и к интеграции (отсутствие памяти). Согласно второй гипотезе – гипотезе дезинтеграции Я вследствие обращения влечения к смерти, – мы наблюдаем «танатическую реакцию на угрозу, которая сама является танатической»²⁷. Эта концепция, достаточно близкая учению Ференци, подчеркивает стремление человеческого существа к фрагментации и дезинтеграции, оказывающееся выражением влечения к смерти. *«Архаическому Я в значительной мере недостает спаянности, а*

²⁴ См.: Freud S. Analyse terminée et interminable // Résultats. Idées. Problèmes. T. II // Op. cit. P. 258; S. E. T. XXIII. P. 243; G. W. T. XVI. P. 88.

²⁵ См.: Freud S. Le moi et le ça // Op. cit. P. 227; S. E. T. XIX. P. 53; G. W. T. XIII. P. 283.

²⁶ См.: Klein M. Développements de la psychanalyse. P.: P. U. F., 1966 (Developments in Psychoanalysis. L.: Hogarth Press, 1952).

²⁷ См.: Petot, Jean-Michel. Melanie Klein, le Moi et le Bon Objet. P.: Dunod, 1932. P. 150.

*стремление к интеграции чередуется со стремлением к дезинтеграции, к развалу на куски <... > Тревога из-за разрушения изнутри сохраняется. Мне представляется, что – из-за нехватки собственной спаянности – Я, находящееся под давлением тревоги, стремится развалиться на куски»*²⁸. Если шизоидная фрагментация является радикальным, крайним проявлением раздробления, меланхолическое торможение (замедление, неверная последовательность) можно рассматривать в качестве иного проявления дезинтеграции связей. Но какого именно?

Депрессивный аффект, следующий за отклонением влечения к смерти, можно интерпретировать как защиту от раздробления. В самом деле, печаль воссоздает аффективную спаянность Я, которое восстанавливает свое единство в оболочке аффекта. Депрессивное настроение задается как нарциссическая поддержка, которая, оставаясь несомненно негативной²⁹, тем не менее предлагает Я некую целостность, пусть она и не является вербальной. В силу этого факта депрессивный аффект восполняет символическое аннулирование и прерывание (то есть депрессивное выражение «в этом нет никакого смысла») и одновременно защищает депрессивного человека от отыгрывания, при котором совершается самоубийство. Однако такая защита хрупка. Депрессивный отказ, уничтожающий смысл символического, уничтожает также смысл акта и ведет субъекта к тому, чтобы, не страшась дезинтеграции, совершить самоубийство, оцениваемое как воссоединение с архаической не-интеграцией – летальной и в то же время ликующей, «океанической».

Таким образом, шизоидное раздробление оказывается защитой от смерти – от соматизации или самоубийства. Депрессия, напротив, избегает шизоидного страха фрагментации. Но если у депрессии не появится возможность опереться на ту или иную *эротизацию страдания*, она не сможет функционировать в качестве защиты от влечения к смерти. Возможно, успокоение, предшествующее некоторым самоубийствам, выражает эту архаическую регрессию, посредством которой акт отвергаемого или оцепеневшего сознания обращает Танатос на Я и обретает потерянный рай не-интегрированного Я – без других и без пределов, неосязаемый фантазм полноты.

Таким образом, говорящий субъект может реагировать на затруднения не только защитным раздроблением, но также торможением-замедлением, отказом от последовательности, нейтрализацией означающего. Возможно, некая незрелость или иные нейробиологические особенности, тяготеющие к не-интеграции, обуславливают подобную установку. Является ли она защитной? Больной депрессией защищается не от смерти, а от тревоги, которую вызывает эротический объект. Такой человек не поддерживает Эрос, он выбирает свой союз с Вещью, который на границе негативного нарциссизма приводит к Танатосу. Своим горем он защищен от Эроса, но незащищен против Танатоса, поскольку последний – безусловное Вещи. Посланник Танатоса, меланхолик является сообщником-свидетелем хрупкости означающего, неустойчивости всего живого.

Фрейд, пусть и не проявивший всей ловкости Мелани Кляйн при режиссуре влечений (и – особенно – влечения к смерти), кажется, однако, более радикальным. У него говорящее существо, помимо власти, желает смерти. На этом логическом пределе уже нет никакого желания. Само желание растворяется в дезинтеграции передачи и в дезинтеграции связей. Если даже он биологически предопределен, являясь следствием нарциссических до-объектных травм, или, выражаясь более банальными терминами, следствием инверсии агрессивности, этот феномен, который можно было бы описать как *распад биологической и логической непрерывности*, нахо-

²⁸ См.: Klein M. Développements de la psychanalyse // Op. cit. P. 276, 279.

²⁹ А. Грин так определяет понятие «негативного нарциссизма»: «Находящийся за пределами раздробления, которое фрагментирует Я и приводит его к аутоэротизму, первичный абсолютный нарциссизм желает покоя, миметически напоминающего смерть. Он оказывается поиском не-желания другого, несуществования, небытия, другой формой доступа к бессмертию» (Green A. Narcissisme de vie, Narcissisme de mort. P.: Éditions de Minuit, 1983. P. 278).

дит свое радикальное проявление в меланхолии. Не является ли влечение к смерти первичным – логически и хронологически – вписыванием этого распада?

В действительности, если «влечение к смерти» остается теоретической спекуляцией, опыт депрессии ставит загадку настроения как перед больным, так и перед наблюдателем.

Является ли настроение языком?

Печаль – это фундаментальное настроение депрессии, и даже если при биполярных формах этого заболевания она чередуется с маниакальной эйфорией; грусть – главное проявление, выдающее впавшего в отчаяние. Печаль приводит нас в таинственную область *аффектов* – тревоги, страха или радости³⁰. Не сводясь к собственным вербальным или семиологическим выражениям, печаль (как и любой иной аффект) является *психическим представлением энергетических сдвигов*, вызванных внешними или внутренними травмами. Точный статус этих психических репрезентантов энергетических сдвигов не может быть достоверно определен современными психоаналитическими и семиологическими теориями – никакие понятийные рамки, предлагаемые уже сформировавшимися науками (особенно лингвистикой), не подходят для того, чтобы объяснить эту по видимости весьма рудиментарную репрезентацию, до-знак и до-язык. Настроение «печаль», вызванное возбуждением, напряжением или энергетическим конфликтом в психосоматическом организме, не является *специфической* реакцией на определенный раздражитель (моя печаль не является реакцией на X и только на X или же знаком этого X). Настроение является «обобщенным переносом» (Э. Джекобсон), который отмечает *все* поведение и все системы знаков (начиная с двигательной системы и заканчивая устной речью и идеализацией), не отождествляясь с ними и не расстраивая их. Есть основание думать, что речь здесь идет об архаическом *энергетическом сигнале*, относящемся к филогенетическому наследию, – сигнале, который, однако, в психическом пространстве человеческого существа *сразу же* начинает учитываться вербальной репрезентацией и сознанием. Но этот «учет» не относится к порядку энергий, которые Фрейд называл «связанными», то есть способными к вербализации, ассоциации и оценке. Будем считать, что свойственные аффектам репрезентации (и особенно печаль), являются *флуктуирующими* энергетическими инвестициями, – будучи недостаточно стабилизированными для сворачивания в вербальные или иные знаки, испытывающими воздействие со стороны первичных процессов сдвига и сгущения и в то же время зависимыми от инстанции Я, они регистрируют благодаря такому учету угрозы, команды и приказы Сверх-Я. Поэтому настроения являются *вписываниями*, энергетическими разрывами, а не чистыми энергиями. Они подводят нас к модальности значения, которая на пороге биоэнергетических равновесий обеспечивает предварительные условия (или же проявляет распад) воображаемого и символического. На границах животной природы и символического мира настроения – и особенно печаль – оказываются предельными реакциями на наши травмы, нашими базовыми гомеостатическими опорами. Поскольку, если верно то, что человек, ставший рабом своего настроения, утонувшим в печали, проявляет определенную психическую или интеллектуальную несостоятельность, столь же верно и то, что пестование разных настроений, создание некоей палитры печали, огранка горя или траура являются метой человеческой природы – конечно, не триумфальной, но утонченной, стропливой и творящей...

Литературное творение является тем приключением тела и знаков, которое несет свидетельство аффекта – печали как меты отделения и как зачатка символического измерения; радости как меты триумфа, который позволяет мне установиться в универсуме искусственного приема и символа, которые я пытаюсь привести в наилучшее соответствие с моим опытом реальности. Но в то же время литературное творение реализует такое свидетельство в матери-

³⁰ Об аффекте см.: Green A. Le Discours vivant. P.: P. U. F., 1971; Jacobson E. Op. cit.

але, совершенно отличном от настроения. Оно переносит аффект в ритмы, в знаки, в формы. «Семиотическое» и «символическое»³¹ становятся сообщаемыми метами наличной аффективной реальности, ощутимой для читателя (я люблю данную книгу, поскольку она сообщает мне печаль, тревогу или радость) и в то же время подчиненной, устраненной, побежденной.

Символические эквиваленты/символы

Если предположить, что аффект является наиболее архаичным вписыванием внутренних и внешних событий, как же тогда прийти к знакам? Мы будем следовать гипотезе Ханны Сегал, согласно которой, после отнятия от груди (отметим сразу же необходимость некоей «нехватки» для возникновения знака) ребенок производит или использует объекты либо звуки, которые являются *символическими эквивалентами* того, чего ему не хватает. Впоследствии, отправляясь от так называемой депрессивной позиции, он пытается означить печаль, охватывающую его, производя в своем собственном Я чуждые внешнему миру элементы, которые он приводит в соответствие с этим потерянным или смещенным внешним – в этом случае мы имеем дело уже не с эквиваленциями, а с *символами* в собственном смысле этого слова³².

Добавим к позиции Ханны Сегал следующее: подобный триумф над печалью становится возможным только благодаря способности Я идентифицироваться уже не с потерянным объектом, а с некоей третьей инстанцией – отцом, формой, схемой. Такая идентификация, являясь условием позиции отказа или маниакальной позиции («Нет, я не потерян; я призываю, язначаю, при помощи знаков и ради самого себя я заставляю существовать то, что отделено от меня») – ее можно назвать фаллической или символической – обеспечивает вступление субъекта в универсум знаков и творчества. Отец, поддерживающий этот символический триумф, – это не эдипов отец, а «воображаемый отец» или, как говорил Фрейд, «отец из индивидуальной предыстории», который гарантирует первичную идентификацию. Однако, абсолютно необходимо, чтобы этот отец из индивидуальной предыстории мог обеспечить роль эдипова отца в символическом Законе, поскольку именно на основе гармоничной смеси этих двух ликов отцовства абстрактные и произвольные знаки коммуникации могут связаться с аффективным смыслом доисторических идентификаций, а мертвый язык депрессивного человека – получить потенциал приобретения живого смысла в связи с другими людьми.

Например, в совершенно иных обстоятельствах литературного творчества этот центральный момент формирования символа, каковым оказывается маниакальная позиция (слушающая

³¹ См. нашу работу: *La Révolution du langage poétique*. P.: Le Seuil, 1974. Chap. A. I.: «Говоря о „семиотическом“, мы используем греческое значение термина *σημειον* – отличительная мета, след, признак, предвестие, доказательство, выгравированный или письменный знак, отпечаток, черта, фигурация. <...> Речь идет о том, на что указывает фрейдовский психоанализ, постулируя *прокладывание пути* и *диспозицию*, структурирующую как влечения, так и так называемые *первичные процессы*, которые смещают и сгущают как энергии, так и их вписывание. Дискретные количества энергии пробегают по телу того, кто позже станет субъектом, и на пути его становления они располагаются в соответствии с ограничениями, наложенными на это тело, которое всегда уже занято семиотизацией – семейной и социальной структурой. Как „энергетические“ заряды и в то же время „психические“ меты, влечения артикулируют таким образом то, что мы называем *хо-рой* – неэкспрессивную тотальность, заданную этими влечениями и их *стазисами*, подвижность которых и задеируется, и регламентируется» (р. 22–23). Зато *символическое* отождествляется с суждением и с фразой: «Мы будем различать семиотическое (влечения и их артикуляции) и область значения, которая всегда является областью высказывания и суждения, то есть областью полаганий. Эта полагательность, описываемая в гуссерлевской феноменологии через понятия *доксы* и *тезы*, структурируется как срез в процессе означивания, учреждающий идентификацию субъекта и его объектов как условий предполагаемости. Этот срез, производящий полагание значения, мы будем называть *тетической* фазой – независимо от того, является ли он высказыванием из одного слова или фразы: всякое высказывание требует идентификации, то есть отделения субъекта от своего образа (и в нем), а также отделения субъекта от его объектов (и в них); оно предварительно требует их полагания в пространстве, ставшем теперь символическим – в силу того факта, что оно связывает два разделенных таким образом полагания, чтобы регистрировать их или их распределять в комбинаторике полаганий, ставших отныне „открытыми“» (р. 41–42).

³² См.: *Segal Hanna*. Note on symbol formation // *International Journal of Psychoanalysis*. 1957. Vol. XXXVII. Part. 6; trad. franç. // *Revue française de psychanalyse*. 1970. T. XXXIV. N 4. Juillet. P. 685–696.

подкладкой депрессии), может проявиться в выстраивании символической родословной – при помощи использования имен собственных, относящихся к реальной или воображаемой истории субъекта, наследником или равноправным представителем которых субъект себя как раз и представляет и которые на самом деле служат поминовением ностальгической связи с потерянной матерью, связи, которая якобы имела место до провала отца³³.

Объектная депрессия (неявно агрессивная), нарциссическая депрессия (логически предшествующая либидинальному объектному отношению). Аффективность, спорящая со знаками, выходящая за их пределы, угрожающая им или изменяющая их. Линию исследования, которой мы будем следовать далее, основываясь на этой картине, можно суммировать следующим образом: эстетическое и особенно литературное творчество, а также религиозный дискурс в своей воображаемой, вымышленной основе предлагают нам диспозитив, чьи просодическая экономия, драматургия персонажей и скрытый символизм являются весьма точным семиологическим представлением борьбы субъекта с символическим крушением. Это литературное представление не является «проработкой» в смысле «осознания» внутренних и внешних для психики причин нравственного страдания; этим оно отличается от психоаналитического пути, который обещает устранение данного симптома. Однако это литературное (и религиозное) представление обладает реальной и воображаемой действенностью, относящейся больше к катарсису, чем к проработке; это терапевтическое средство, используемое испокон веков во всех обществах. И если психоанализ считает, что его эффективность гораздо выше, особенно в том случае, когда он усиливает интеллектуальные способности субъекта, он все же обязан расширить свой арсенал, обратив большее внимание на эти сублимационные решения наших кризисных состояний, дабы стать не нейтрализующим антидепрессантом, а трезвым контрдепрессантом.

Является ли смерть непредставимой?

Прежде чем ввести положение о том, что бессознательное управляется принципом удовольствия, Фрейд вполне логично постулирует, что в бессознательном нет представления о смерти. Поскольку бессознательное ничего не знает об отрицании, оно ничего не знает и о смерти. Смерть – как синоним не-наслаждения, воображаемый эквивалент фаллического лишения – не может быть увидена. И, может быть, именно поэтому она открывает путь к спекуляции.

Однако, когда клинический опыт подводит Фрейда к нарциссизму³⁴ и, в конечном счете, к открытию влечения к смерти³⁵ и второй топики³⁶, он предлагает такую картину психического аппарата, в которой Эросу угрожает возможное поражение со стороны Танатоса. Следовательно, возможность представления смерти выписывается в иных терминах.

Страх кастрации, ранее рассматриваемый в качестве подосновы сознательной боязни смерти, не исчезает, но блекнет перед *страхом потерять объект* или *потеряться как объект* (этиология меланхолии и нарциссических психозов).

Эта эволюция мысли Фрейда допускает две интерпретации, которые были выделены А. Грином³⁷.

Во-первых, как обстоит дело с *представлением* этого влечения к смерти? Неведомое бессознательному, у «второго Фрейда» оно становится «культурой Сверх-Я» – как можно было

³³ См. далее гл. VI о Нервале (часть «Воображаемая память»).

³⁴ «Введение в нарциссизм», 1914.

³⁵ «По ту сторону принципа удовольствия», 1920.

³⁶ «Я и Оно», 1923.

³⁷ Narcissisme de vie, Narcissisme de mort // Op. cit. P. 255 sq.

бы сказать, переворачивая формулу самого Фрейда. Оно расщепляет само Я на ту часть, которой оно неведомо и которая им, однако, затрагивается (это его бессознательная часть), и другую часть, которая борется с ним (это мегаломанское Я, отрицающее кастрацию и смерть, но создающее фантазм бессмертия).

Но, если брать более фундаментальный уровень, не проходит ли такое расщепление через всякий дискурс? Символ задается отрицанием (*Verneinung*) потери, однако отказ (*Verleugnung*) от символа производит психическое вписывание, весьма близкое к ненависти и к овладению потерянным объектом³⁸. Именно это можно расшифровать в пробелах дискурса, вокализмах, ритмах, слогах лишенных жизни слов, заново собираемых психоаналитиком на основе понимания депрессии.

Итак, если влечение к смерти не представлено в бессознательном, нужно ли изобретать какой-то иной уровень психического аппарата, на котором оно одновременно с наслаждением регистрирует бытие своего небытия? Именно производство этого расщепленного Я, конструирование фантазма и вымысла – весь регистр воображаемого в целом, регистр письма – вот что свидетельствует об этом разрыве, пробеле или интервале, которыми для бессознательного оказывается смерть.

Диссоциация форм

Воображаемые конструкции превращают влечение к смерти в эротизированную агрессивность против отца или же в необоримое отвращение к телу матери. Известно, что в то самое время, когда Фрейд открывает силу влечения к смерти, он не только смещает свои интересы от теоретической модели первой топикки (сознание/предсознательное/бессознательное) ко второй, но и – что главное – благодаря этой второй топике еще больше нацеливается на анализ воображаемых производств (религий, искусств, литературы). В них он обнаруживает некоторое представление боязни смерти³⁹. Означает ли это, что боязнь смерти – которая теперь уже не сводится к страху кастрации, но включает его в себя и дополняет его некоей травмой и даже потерей целостности тела и Я, – обнаруживает свои репрезентации в образованиях, которые назовут «транссознательными», то есть в воображаемых конструкциях расколотого субъекта, описанных Лаканом? Вне всякого сомнения.

Тем не менее бессознательное могло бы выполнить в своей собственной ткани иное прочтение, то, которое предлагается нам некоторыми сновидениями, то есть тот а-репрезентативный интервал репрезентации, который является не *знаком*, а *признаком* влечения к смерти. Пограничные сновидения, сны шизоидных личностей или тех, кто испытывает психоделический опыт, часто являются «абстрактными картинками» или потоками звуков, сплетением линий и тканей, в которых психоаналитик расшифровывает диссоциацию – или не-интеграцию – психического и соматического единства. Эти признаки можно было бы истолковать как предельную мету влечения к смерти. Сама по себе работа смерти, выходящая за пределы образных репрезентаций влечения к смерти, необходимо смещенных в силу собственной эротизации, то есть работа при нулевой степени психики выявляется именно в *диссоциации самой формы*, когда форма де-формируется, абстрагируется, обез-ображивается, опустошается – таковы предельные пороги вписываемого расчленения и наслаждения...

С другой стороны, непредставимое смерти связывалось с другим непредставимым – с изначальной обителью и последним пристанищем душ на том свете, то есть с тем, чем для мифологического мышления оказывается женское тело. Ужас кастрации, служащий подосновой боязни смерти, несомненно, объясняет значительную часть этой всеобщей ассоциации

³⁸ См. далее главу II: «Жизнь и смерть речи».

³⁹ Таковы, например, убийство отца в «Тотеме и табу» (1913) или грозящая смертью вагина в «Зловещем» (1919).

женщины, лишенной пениса, и смерти. Однако гипотеза влечения к смерти предлагает иной ход мысли.

Смертоносная женщина

Для мужчины и для женщины потеря матери является биологической и психической необходимостью, первой вехой автономизации. Убийство матери – наша жизненная потребность, условие *sine qua non*⁴⁰ нашей индивидуации; главное – чтобы оно осуществлялось оптимальным образом и могло подвергаться эротизации: либо потерянный объект должен обнаружиться в качестве эротического объекта (таков случай мужской гетеросексуальности и женской гомосексуальности), либо потерянный объект должен переноситься в невероятном символическом усилии, начинанием которого можно только восхищаться, – в усилии, которое эротизирует *другого* (другой пол – в случае гетеросексуальной женщины) или же преобразует в «сублимированный» эротический объект культурные конструкции (здесь можно вспомнить об инвестированиях мужчинами и женщинами социальных связей, интеллектуальных и эстетических производств и т. д.). Большая или меньшая степень насилия, связываемая с влечением к матереубийству и допускаемая разными индивидуумами и разными средами, приводит в случае блокировки этого влечения к его обращению на Я, – поскольку материнский объект интроецирован, депрессивное или меланхолическое умертвление Я заступает на место матереубийства. Чтобы защитить мамочку, я убиваю себя, зная при этом – благодаря защитному и фантазматическому знанию – что всё это из-за нее, из-за нее, смертоносной геенны... Потому моя ненависть остается невредимой, а чувство виновности в матереубийстве притупляется. Ее я превращаю в образ Смерти, чтобы помешать себе разбить самого себя на куски той ненавистью, которую я обращаю на себя, когда отождествляюсь с Ней, поскольку это отвращение в принципе обращено на нее в качестве индивидулирующего барьера, защищающего от слияния в любви. Таким образом, женский образ смерти – это не только экран моего страха кастрации, но и воображаемый стопор влечения к матереубийству, которое без такого представления расплылось бы меня в меланхолии или даже подтолкнуло бы к преступлению. Но нет, это Она смертоносна, поэтому я не убиваю себя, чтобы убить ее, но нападаю на нее, преследую ее, представляю ее...

Для женщины, для которой зеркальная идентификация с матерью, а также интроекция материнского тела и материнского Я являются более непосредственными, такое обращение влечения к матереубийству на смертоносную материнскую фигуру оказывается более сложным, если вообще возможным. В самом деле, как может Она быть этой охочей до крови Эринией, если я есть Она (в сексуальном смысле и нарциссическом), а Она есть я? Следовательно, ненависть, которую я направляю на нее, не уходит вовне, но запирается во мне. Ненависти тут и нет, есть только взрывное настроение, которое замуровывается внутри и втихомолку убивает меня, поджаривает на медленном огне, постоянно жжет кислотой и печалью, пока я не начну принимать смертельное снотворное в меньших или больших дозах – в темной надежде на то, что обрету... никого, то есть лишь собственную воображаемую полноту, восполненную моей смертью, в которой я получаю свое завершение. Гомосексуалист причастен той же самой депрессивной экономии: когда он не предается садистической страсти с другим мужчиной, он остается изысканным меланхоликом.

Возможно, фантазм женской бессмертности берет свое начало в женской зародышевой передаче, способной к партеногенезу. Кроме того, новые техники искусственного оплодотворения наделяют женское тело неслыханными способностями к воспроизводству. Если это женское «всемогущество» в деле выживания вида и может быть подорвано иными техническими

⁴⁰ Непременное условие (лат.). – Прим. пер.

возможностями, которые, похоже, смогут и мужчину сделать беременным, то, весьма вероятно, эта последняя возможность привлечет лишь ничтожное меньшинство, хотя она и удовлетворяет андрогинные фантазмы большинства. Однако главная часть женского убеждения в бессмертии, утверждающемся в самой смерти и по ту сторону смерти (совершенным образом оно воплощено в Деве Марии), коренится не в этих биологических возможностях, связку которых с психикой определить сложно, а в «негативном нарциссизме».

В своем пароксизме последний ослабляет как агрессивный аффект (матереубийство) по отношению к другому, так и аффект горя внутри самого себя, дабы заменить его тем, что можно было бы назвать «океанической пустотой». Речь идет о чувстве и фантазме боли, которая при этом обезболена, о наслаждении, которое при этом подвешено, о молчании и ожидании, – сколь пустых, столь и полных. В лоне этого летального океана меланхолическая женщина становится той мертвой, которая давным-давно была в ней оставлена и которая никогда не сможет убивать вне ее⁴¹. Стыдливая, немолчующая, лишенная речевой связи с другими или же связи желания, она изнуряет себя нравственными и физическими побоями, которые, однако, не дают ей достаточного удовольствия. Вплоть до фатального удара – окончательного венчания Мертвой женщины с Той самой, которую она не убила.

Нельзя переоценить гигантское психическое, интеллектуальное и аффективное усилие, которое женщине требуется совершить, чтобы обнаружить в другом поле эротический объект. В своих филогенетических спекуляциях Фрейд часто выражает восхищение интеллектуальным результатом, которого добивался мужчина, когда он был (или остается) фрустрирован женщинами (их холодностью или же тиранией отца первичного стада и т. д.). Если уже открытие собственной невидимой вагины требует от женщины огромного чувственного, спекулятивного и интеллектуального усилия, переход к символическому порядку *в то же самое время*, что и к сексуальному объекту другого пола, отличного от пола первичного материнского объекта, представляет собой гигантский труд, в который женщина вкладывает психический потенциал, превосходящий то, что требуется от мужского пола. Когда этот процесс завершается успешно, об этом свидетельствует раннее созревание девочек, их интеллектуальные, подчас гораздо более яркие, чем у мальчиков, школьные успехи, сохраняющаяся женская зрелость. Но платят они за эти успехи своей склонностью беспрестанно воспевать проблематичный траур по потерянному объекту – но не такому уж и потерянному, хотя и жалящему внутри «крипты» женской легкости и зрелости. Если только массовая интроекция идеала не сможет удовлетворить одновременно и нарциссизм с его негативным наклоном, и стремление присутствовать на той арене, на которой разыгрывается мирская власть.

⁴¹ См. в гл. III: «Убивать или убиваться» и «Мать-девственница».

Глава 2

Жизнь и смерть речи

Вспомним о речи депрессивного человека: она монотонна и повторяема. Фраза, не способная связаться в единое целое, прерывается, истощается, останавливается. Даже синтагмам не удастся выстроиться. Повторяемый ритм, монотонная мелодия все больше завладевают разорванными логическими последовательностями, превращая их в возвращающиеся, навязчивые литании. Наконец, когда эта скудная музыкальность тоже истощается или когда ей просто не удастся сложиться из-за молчания, меланхолик, похоже, вместе с высказыванием приостанавливает всякую идеацию, погружаясь в белизну асимболии или в чрезмерную полноту идеационного неупорядоченного хаоса.

Разорванное сцепление: биологическая гипотеза

Эта безутешная печаль часто скрывает реальную предрасположенность к отчаянию. Частично она, возможно, является биологической – слишком большая скорость или слишком сильное замедление передачи нервных сигналов, несомненно, зависят от некоторых химических субстанций, которые у разных индивидуумов присутствуют в разных соотношениях⁴².

В медицинском дискурсе предполагается, что следование друг за другом эмоций, движений, действий или речей, признанное за норму в силу статистического преобладания, при депрессии оказывается заторможенным – общий ритм поведения разорван, у действия и его развития нет больше ни места, ни времени для осуществления. Если недепрессивное состояние означало способность сцеплять («логически связывать»), то, напротив, больной депрессией, прикованный к своему страданию, больше ничего не связывает и, как следствие, не действует и не говорит.

«Замедления»: две модели

Множество авторов обращали особое внимание на двигательную, аффективную и идеаторную заторможенность как характерные признаки депрессивно-меланхолического комплекса⁴³. Даже психомоторное возбуждение и сопровождаемая бредом депрессия или, в более общем случае, депрессивное настроение кажутся неотделимыми от заторможенности⁴⁴. Элементом той же картины является и речевая заторможенность – достаточно медленная манера высказывания, с длинными и частыми паузами, ритм речи замедляется, интонации становятся монотонными, а синтаксические структуры, не выказывая тех искажений и смещений, которые обнаруживаются при разных случаях шизофрении, зачастую характеризуются невосполнимыми пропусками (пропуск дополнения или глаголов, которые невозможно восстановить исходя из контекста).

⁴² Напомним поступательное движение фармакологии в этой области: открытие в 1952 году Делеем и Деникером действия нейрелептиков на состояния возбуждения; использование в 1957 году Куном и Клайном первых сильных антидепрессантов; к началу 1960-х годов. Шу [Hans Jacob Schou] начинает применять соли лития.

⁴³ Здесь мы можем сослаться на коллективное исследование под редакцией Даниеля Видлешера «Депрессивная заторможенность» (Widlöcher Daniel. Le Ralentissement dépressif. P.: P. U. F., 1983), в котором оцениваются эти исследования и предлагается новая концепция замедления, характерного для депрессии: «Находиться в депрессии – значит быть заключенным в определенной системе действия, то есть действовать, мыслить, говорить в модальностях, характеристикой которых является заторможенность» (Ibid., p. 9).

⁴⁴ См.: Jouvent R. Ibid. P. 41–53.

Одна из моделей, предложенных для осмысления процессов, поддерживающих состояние депрессивной заторможенности, а именно модель «*learned helplessness*» («приобретенной беспомощности») исходит из наблюдения, что в случае, когда все выходы закрыты, животное, как и человек, учится самоустраняться, не пытаясь бежать или драться. Заторможенность или бездействие, которые можно было бы назвать депрессивными, оказываются, таким образом, приобретенной защитной реакцией на безысходную ситуацию и на неизбежный шок. Трициклические антидепрессанты, по видимости, восстанавливают способность к бегству, что позволяет предположить, что приобретенное бездействие связано с ослаблением норадренергической системы или же с холинергической гиперактивностью.

Согласно другой модели, любое поведение должно управляться системой аутостимуляции, основанной на компенсации, которая обуславливает запуск реакций. Тогда мы приходим к понятию «систем положительного или отрицательного закрепления», а если предположить, что в депрессивном состоянии эти системы работают неправильно, следует перейти к изучению связанных с ними структур и медиаторов. Можно дать двойное объяснение такому нарушению. Поскольку структура закрепления, медиальная поверхность конечного мозга, зависящая от норадренергических медиаторов, отвечает за реакцию, заторможенность и депрессивное замыкание должны быть связаны с ее дисфункциями. С другой стороны, в основе тревоги может лежать гиперактивность «наказывающих» систем предохранения, управляемых холинергическими медиаторами⁴⁵. Роль *locus caeruleus* [голубого пятна] в медиальной поверхности конечного мозга, по существу, сводится к аутостимулированию и норадренергической передаче. В опытах по подавлению реакции посредством ожидания наказания, напротив, повышается уровень серотонина. Лечение депрессии, таким образом, должно приводить к повышению уровня норадреналина и понижения серотонина.

Эта существенная роль *locus caeruleus* отмечается многими авторами, которые говорят о нем как «передаточном центре „системы оповещения“, провоцирующей нормальный страх или тревогу <...> LC имеет нервные окончания, отходящие непосредственно от путей передачи болевых сигналов от тела, и проявляет устойчивые реакции на повторные вредные стимулы даже у животных, лишенных органов чувств. <...> Кроме того, существуют нервные пути, идущие от коры головного мозга и к ней, которые формируют петли обратной связи, объясняющие, как *смысл и значение стимулов* могли бы оказывать воздействие на реакции. Именно эти петли обратной связи указывают на зоны, которые, возможно, отвечают за *когнитивный опыт того или иного эмоционального состояния*»⁴⁶.

Язык как «стимулирование» и «закрепление»

Достигнув этой стадии современных попыток продумать два пути – психический и биологический – эмоций, мы можем заново поставить вопрос о ключевом значении языка для человеческого существа.

В опыте неотвратимого отлучения или же неизбежного шока (а также безысходного преследования) ребенок – в противоположность животному, которое способно отвечать лишь своим поведением – может найти какой-то вариант борьбы или бегства посредством психического представления или в языке. Он воображает, мыслит, проговаривает борьбу или побег, так же как и всю гамму промежуточных элементов, что позволяет ему не замыкаться в бездействии и не изображать смерть, когда он травмирован некоей фрустрацией или когда ему причинен непоправимый ущерб. Однако, чтобы это недепрессивное решение меланхолической дилеммы *бежать–драться / притворяться мертвым (flight–fight / learned helplessness)* было разрабо-

⁴⁵ См.: Lecrubier Y. Une limite biologique des états dépressifs // Ibid. P. 85.

⁴⁶ См.: Redmond D. E., Jr., цит. по: Reiser Morton. Mind, Brain, Body. N. Y.: Basic Books, 1984. P. 148 (Курсив мой.– Ю. К.).

тано, ребенку требуется *устойчивое включение* в символический и воображаемый код, который только при этом условии становится стимулированием и подкреплением. Тогда он запускает реакции на определенное действие, которое неявным образом тоже оказывается символическим, оформленным языком или осуществляемым только благодаря языку. Если же, напротив, символического измерения оказывается недостаточно, субъект попадает в безысходную ситуацию отчаяния, которая приводит его к бездействию и смерти. Другими словами, язык в своей разнородности (первичные и вторичные процессы, идеаторный и эмоциональный вектор желаний, ненависти, конфликтов) является мощным фактором, который через неизвестные системы опосредования оказывает действие активации (как и, наоборот, торможения) на нейробиологические контуры. Эта оптика, однако, оставляет многие вопросы нерешенными.

Является ли та символическая недостаточность, которая обнаруживается у больного депрессией, всего лишь одним из клинически фиксируемых элементов заторможенности, или же она образует их существенное условие? Обусловлена ли она дисфункцией нервной или эндокринной систем, которые поддерживают (но каким образом?) психические и, в частности, словесные представления, так же как пути, связывающие их с ядрами гипоталамуса? Или же речь идет о недостаточности символического импульса, которое обусловлено только лишь семейной и социальной средой?

Не исключая первую гипотезу, психоанализ прилагает свои силы к прояснению второй. Поэтому мы будем спрашивать себя о том, каковы *механизмы, которые снижают символический импульс* у того субъекта, который, однако, приобрел адекватную символическую способность, зачастую соответствующую (по крайней мере, внешне) социальной норме, а иногда и чрезвычайно развитую. Мы попытаемся через динамику лечения и особую экономию интерпретаций восстановить ту ее силу, которая оптимальна для воображаемого и символического измерения гетерогенного комплекса, которым является говорящий организм. Это приведет нас к вопросу об *отказе от означающего*, наблюдаемого у депрессивного человека, а также о роли первичных процессов в депрессивной речи, как и в интерпретативной речи в качестве «воображаемой и символической прививки», осуществляемой посредством первичных процессов. Наконец, мы зададимся вопросом о важности *нарциссического признания и идеализации* для облегчения закрепления пациента в символическом измерении, которое зачастую означает новое освоение навыка коммуникации в качестве параметра желания и конфликта или даже ненависти.

Чтобы в последний раз коснуться проблемы «биологического предела», к которой затем мы уже не будем обращаться, скажем, что уровень психического представления и, в частности, лингвистического представления в нейробиологическом отношении транспонируется в физиологические события мозга и, в конечном счете, – в многочисленные сети гипоталамуса (ядра гипоталамуса соединены с корой головного мозга, функционирование которой поддерживает – но каким именно образом? – *смысл*, так же как с лимбической системой ствола мозга, функционирование которого обеспечивает *аффекты*). Сегодня нам неизвестно, как осуществляется подобное транспонирование, однако клинический опыт дает нам основание думать, что оно *действительно* имеет место (например, можно вспомнить о возбуждающем или, напротив, успокоительном, опиатном, воздействии некоторых слов). Наконец, определенное число заболеваний (и депрессий), происхождение которых можно отнести к нейрофизиологическим нарушениям, запущенным символическими недостаточностями, остаются привязанными к уровням, недоступными для воздействия языка. В таком случае необходима помощь со стороны антидепрессанта, который способен восстановить минимальный нейрофизиологический базис, от которого может отталкиваться психотерапевтическая работа, анализирующая символические хитросплетения и связки с целью восстановления новой символичности.

Другие формы возможного транспонирования между уровнями смысла и функционирования мозга

Разрывы в лингвистической непрерывности или, тем более, их восполнение сверхсегментными операциями (ритмами, мелодиями) в речи депрессивного человека могут интерпретироваться как следствие нарушения работы левого полушария, которое управляет лингвистической деятельностью, передающего в таком случае – пусть даже временно – управление правому полушарию, заведующему аффектами и эмоциями, а также их «первичными», «музыкальными», а не лингвистическими вписываниями⁴⁷. Впрочем, к этим наблюдениям можно добавить модель двойного функционирования мозга: с одной стороны, нейронного, электрического, кабельного или цифрового, а с другой – эндокринного, гуморального, флуктуирующего и аналогового⁴⁸. Похоже, что некоторые химические вещества мозга и даже некоторые нейротрансмиттеры могут обладать двойной функцией – в одних случаях «нейронной», а в других – «эндокринной». В общем, если учесть этот дуализм мозга, благодаря которому страсти привязаны главным образом к гуморальной системе, можно говорить о «флуктуирующем центральном состоянии». Если допустить, что язык должен на своем собственном уровне выражать это «флуктуирующее состояние», в функционировании самого языка необходимо будет выделить одни регистры, которые ближе к «нейронному мозгу» (например, грамматическая и логическая непрерывность), и другие регистры, более близкие к «мозгу-железё» (сверхсегментные компоненты речи). Таким образом, можно было бы продумать отношение «символической модальности» означивания к левому полушарию и к нейронному мозгу и, обратно, отношение «семиотической модальности» к правому полушарию и к мозгу-железё.

Однако сегодня ничто не позволяет установить какое-либо соответствие – если только это не разрыв – между биологическим субстратом и уровнем *представлений*, будь они тональными или синтаксическими, эмотивными или когнитивными, семиотическими или символическими. Однако нельзя пренебрегать возможными соотношениями двух этих уровней, – напротив, нужно попытаться вызвать резонанс действия одного уровня в другом: резонанс, конечно, случайный и непредвиденный, а также определить преобразования одного уровня за счет другого.

В заключение скажем, что, если дисфункция норадреналина и серотонина или же соответствующих им рецепторов снижает проводимость синапсов и *может* вызвать депрессивное состояние, роль данных синапсов в звездчатой структуре мозга все равно не может быть абсолютной⁴⁹. Недостаток в подобных элементах может быть возмещен другими химическими феноменами, а также иными внешними воздействиями (включая и символические) на мозг, который приспосабливается к ним посредством биологического изменения. В самом деле, опыт отношения к другому, его страсти и его радости в конечном счете оставляют свой отпечаток на биологической почве и завершают хорошо известную картину депрессивного поведения. Не отказываясь в борьбе против меланхолии от химического воздействия, психоаналитик располагает (или может располагать) расширенной гаммой вербализаций этого состояния и способов его преодоления. Сохраняя внимание к этим взаимодействиям, он будет ограничиваться специфическими изменениями депрессивного дискурса, а также проистекающей из них конструкцией его собственной интерпретативной речи.

⁴⁷ См.: Gazzaniga Michael. The Bisected Brain. N. Y.: Meredith Corporation, 1970. Затем это разделение символических функций между двумя полушариями мозга будет подчеркиваться во многих работах.

⁴⁸ См.: Vincent J. D. Biologie des passion / Éd. O. Jacob. P., 1986.

⁴⁹ См.: Widlöcher D. Les Logiques de la dépression. P.: Fayard, 1986.

Столкновение психоанализа с депрессией приводит его поэтому к вопросу о позиции субъекта по отношению к смыслу, а также о гетерогенных измерениях языка, позволяющих осуществлять различные психические вписывания, которые именно в силу этого разнообразия должны иметь большее число возможностей влиять на разные аспекты функционирования мозга и, соответственно, на деятельность организма в целом. Наконец, с этой точки зрения, воображаемый опыт предстанет перед нами одновременно как свидетельство битвы, которую человек ведет против символической капитуляции, внутренне обусловленной депрессией, и как определенный набор средств, способных обогатить интерпретативный дискурс.

Психоаналитический прыжок: связывать и перемещать

С точки зрения психоаналитика, способность связывать означающие (речи и акты), видимо, зависит от завершения траура по архаичному необходимому объекту, а также от эмоций, которые с ним связаны. Траур по Вещи – сама его возможность происходит из (осуществляемого по ту сторону потери и в регистре воображаемого или символического) перемещения мет взаимодействия с другим, артикулирующихся в определенном порядке.

Освобожденные от изначального объекта семиотические меты сначала упорядочиваются в *серии* в соответствии с первичными процессами (смещение и сгущение), затем – синтагмами и фразами, то есть в соответствии со вторичными процессами грамматики и логики. Сегодня все науки о языке признают, что дискурс является *диалогом* – его упорядочивание (как ритмическое, так и интонационное или синтаксическое) требует наличия двух собеседников. Однако к этому фундаментальному условию, которое уже предполагает необходимое разделение одного субъекта и другого, необходимо добавить тот факт, что вербальные последовательности осуществляются лишь при условии замены более или менее симбиотического изначального объекта перемещением [trans-position], которое является действительным восстановлением [re-constitution], в ретроактивном порядке наделяющем смыслом и формой мираж изначальной Вещи. Это решающее движение *перемещения* включает две составляющие: во-первых, завершение траура по объекту (а в его тени – траура по архаичной Вещи), а во-вторых – присоединение субъекта к регистру знаков (означающих именно в силу отсутствия объекта), только таким образом получающего способность упорядочиваться в серии. Свидетельство этому обнаруживается в том, как выучивает язык ребенок, в своих бесстрашных скитаниях покидающий колыбель для того, чтобы обрести мать в царстве представлений. Другим свидетельством – свидетельством от противного – является депрессивный человек, когда он отказывается наделять что-либо значением и погружается в молчание боли или в спазм слез, которые служат поминанием о воссоединении с Вещью.

Перемещать, по-гречески – *metaphorein*, перевозить: язык изначально является переводом, но именно в регистре, гетерогенном тому, в котором осуществляется аффективная потеря, отказ, разлом. Если я не согласен потерять маму, я не смогу ее ни воображать, ни именовать. Психотическому ребенку эта драма известна – он оказывается неспособным переводчиком, ему неведома метафора. Что же до дискурса в депрессии, он является «нормальной» поверхностью психотического риска: печаль, затопляющая нас, заторможенность, парализующая нас, суть еще и заслон – порой последний – от безумия.

Не состоит ли в таком случае судьба говорящего существа в том, чтобы беспрестанно все дальше и все больше в сторону перемещать это сериальное или фразовое перемещение, свидетельствующее о нашей способности проработать фундаментальный траур и все последующие трауры? Наш дар речи, то есть дар, позволяющий располагаться во времени по отношению к другому, не мог бы существовать иначе, как по ту сторону пропасти. Говорящее существо, начиная с его способности длиться во времени и заканчивая его воодушевленными, научными

или попросту забавными конструкциями, требует разрыва в своем собственном основании, некоего забвения, беспокойства.

Отрицание этой фундаментальной потери открывает нам страну знаков, однако часто траур остается незавершенным. Он сокрушает отрицание и оживляет память знаков, выводя их из их означающей нейтральности. Он нагружает их аффектами, что в результате делает их двусмысленными, повторяющимися, просто аллитеративными, музыкальными, а порой бессмысленными. В таком случае перевод – то есть наша судьба говорящих существ – прерывает свой головокружительный бег к метаязыкам или к иностранным языкам, которые суть именно знаковые системы, удаленные от места страдания. Он пытается сделать себя чуждым самому себе, дабы в родном языке найти «полное, новое, чуждое языку слово» (Малларме) и схватить само неименуемое. Соответственно, избыток аффекта может проявляться только посредством производства новых языков – странных сцеплений, идиолектов, поэтики. Пока вес первичной Вещи не раздавит его, когда перевод станет вообще невозможным. Меланхолия завершается в асимболии, в потере смысла – если я не способен переводить и метафоризировать, я умолкаю и умираю.

Отказ от отрицания

Послушайте снова несколько мгновений депрессивную речь – повторяющуюся, монотонную или лишенную смысла, неслышимую даже для того, кто ее произносит, прежде чем он замкнется в собственной немоте. Вы заметите, что смысл у меланхолика представляется... произвольным или что он выстраивается при помощи умения и желания сохранять выдержку, но кажется при этом вторичным, словно бы оседающим в стороне от головы и тела человека, который говорит с вами. Или вы отметите, что этот смысл тут же ускользает, оказываясь неопределенным, лакунарным, почти немым – с вами «говорят»⁵⁰ будто бы в убеждении, что речь ложна, то есть с вами «говорят» небрежно, «говорят», не веря в собственную речь.

Но произвольность смысла лингвистика утверждает в отношении всех вербальных знаков и всех видов дискурса вообще. Разве означающее «смех» как-то обусловлено отношением к смыслу «смеха» или, тем более, к акту смеха, к его физическому осуществлению, к его внутрипсихическому и интеракционному значению? Доказательство: я называю один и тот же смысл и один и тот же акт по-английски «to laugh», по-французски «rire» и т. д. То есть любой «нормальный» говорящий человек научается принимать эту искусственность всерьез, инвестировать ее или же забывать о ней.

Знаки произвольны, поскольку язык начинается с *отрицания* (*Verneinung*) потери – в то самое время, что и депрессия, обусловленная трауром. «Я потерял необходимый объект, который, в конечном счете, оказывается моей матерью» – вот что, похоже, говорит говорящее существо. «Но нет, я обрел ее в знаках или, скорее, поскольку я соглашаюсь ее потерять, я ее не потерял (вот отрицание), я могу восстановить ее в языке».

Депрессивный человек, напротив, *отказывается от отрицания*: он аннулирует его, его подвешивает и в ностальгии замыкается на реальном объекте (Вещи) своей потери, который ему как раз не удастся потерять и к которому он остается мучительно прикованным. *Отказ* (*Verleugnung*) от отрицания оказывается, таким образом, механизмом невозможного траура, учреждением фундаментальной печали и искусственного, ненадежного языка, выкроенного из того болезненного фона, которого не может достигнуть никакое означающее и который может модулироваться лишь интонацией, прерыванием речи.

⁵⁰ Автор использует безличный оборот «„on“ vous parle», подчеркивая безличное местоимение «он». – Прим. пер.

Что понимать под «отказом» и «отрицанием»?

Под «отказом» мы будем понимать отказ как от означающего, так и от семиотических репрезентантов влечений и аффектов. Термин «отрицание» будет пониматься как обозначение интеллектуальной операции, которая приводит вытесненное к представлению при условии отрицания этого вытесненного и в силу этого факта участвует в пришествии означающего.

По Фрейду, *отказ*, или *отпирательство* (*Verleugnung*), относится к психической реальности, которую он считал относящейся к порядку восприятия. Этот отказ обычен для ребенка, однако у взрослого он становится отправной точкой для психоза, поскольку начинает распространяться на внешнюю реальность⁵¹. Однако, в конечном счете, отказ находит свой прообраз в отказе от кастрации и специфицируется в качестве основного фактора, определяющего фетишизм⁵².

Наше расширение поля фрейдовского *Verleugnung* не изменяет его функции, которая заключается в производстве расщепления в субъекте: с одной стороны, субъект отказывается от архаических репрезентаций травматических представлений, с другой – он символически признает их влияние и пытается извлечь из них следствия.

Однако в нашей концепции видоизменяется объект отказа. Отказ действует на *внутрипсихическое* (семиотическое и символическое) *вписывание нехватки*, которая может на фундаментальном уровне быть нехваткой объекта или подвергаться предельной эротизации в виде кастрации женщины. Другими словами, отказ действует на означающие, способные вписывать семиотические следы и перемещать их, дабы создавать в субъекте смысл для другого субъекта.

Можно отметить, что эта отвергаемая ценность депрессивного означающего выражает ту невозможность завершить траур по объекту, которая часто сопровождается фантазмом фаллической матери. Фетишизм представляется решением для депрессии и ее отказа от означающего: фетишист замещает фантазмом и отыгрыванием отказ от психической боли (от психических репрезентантов боли), следующей за потерей биопсихического равновесия в результате потери объекта.

Отказ от означающего подкрепляется отказом от отцовской функции, которая как раз и гарантирует установление означающего. Отец депрессивного человека, сохраняемый в своей функции идеального или воображаемого отца, лишается фаллической силы, приписываемой матери. Этот отец, соблазнительный или соблазняющий, хрупкий и притягательный, поддерживает субъекта в его страсти, но не обеспечивает его возможностью найти выход посредством идеализации символического. Когда такая идеализация вступает в права, она опирается на отца, выполняющего материнские функции, и идет по пути сублимации.

Отрицание (*Verneinung*), двусмысленности которого разворачиваются и утверждаются Фрейдом в его исследовании «*Die Verneinung*»⁵³ – это процесс, который вводит в сознание определенный аспект желания и бессознательной идеи. «*Отсюда происходит определенное интеллектуальное принятие вытесненного, тогда как главный момент вытеснения сохраняется*»⁵⁴. «*При помощи символа отрицания мышление освобождается от ограничений вытеснения*»⁵⁵. Благодаря отрицанию «*вытесненное содержание представления или мысли может*

⁵¹ См.: Freud S. Quelques conséquences biologiques de la différence anatomique entre les sexes (1925) // La Vie sexuelle. P.: P. U. F., 1969. P. 123–132; S. E. T. XIX. P. 241–258; G. W. T. XIV. P. 19–30.

⁵² См.: Freud S. Le Fétichisme (1927) // La Vie sexuelle. Op. cit. P. 147–157; G. W. T. XIV. P. 311–317.

⁵³ См.: Freud S. Die Verneinung (1925) // Revue française de psychanalyse. P., 1934. VII. № 2. P. 174–177. Сравнительный перевод: Le Coq-Héron. № 8; S. E. T. XIX. P. 233–239; G. W. T. XIV. P. 11–15.

⁵⁴ См.: «Die Verneinung», сравнительный перевод: Le Coq-Héron. № 8. P. 13.

⁵⁵ Ibid.

дойти до сознания»⁵⁶. Этот психический процесс, встречающийся в случаях защиты пациентов от собственных бессознательных желаний (высказывание «Нет, я его не люблю» должно в таком случае обозначать как раз признание этой любви в форме ее отрицания), совпадает, таким образом, с процессом, который производит логический и лингвистический символ.

Мы предполагаем, что негативность охватывает всю психическую деятельность говорящего существа. Ее различные модальности, которые суть *отрицание*, *отказ* и *отвергание* [forclusion] (они могут производить или видоизменять вытеснение, сопротивление, защиту или цензуру), как бы они ни отличались друг от друга, влияют и взаимно обуславливают друг друга. Не существует «символического дара» без расщепления, а способность к речи потенциально всегда несет с собой фетишизм (пусть даже фетишизм самих символов), как и психоз (пусть и в стадии ремиссии).

Однако разные психические структуры по-разному управляются этим процессом негативности. Если *отвергание* (*Verwerfung*) одерживает верх над отрицанием, символическая ткань рвется, стирая самую реальность – такова экономия психоза. Меланхолик, способный дойти до отвергания (меланхолический психоз), при благоприятном развитии его болезни характеризуется однако же господством *отказа* над *отрицанием*. Семиотические субстраты (аффективные или определяемые влечениями репрезентанты потери и кастрации), скрывающиеся за лингвистическими знаками, подвергаются отрицанию, и, соответственно, упраздняется внутриспсихическая способность этих знаков производить для субъекта смысл. В результате травматические воспоминания (потеря любимого родителя в детстве, какая-то более актуальная травма) не вытесняются, но постоянно поминаются, поскольку *отказ от отрицания* мешает работе вытеснения или, по крайней мере, той ее части, которая связана с представлением. Так что это поминание, это представление вытесненного не достигает символической *проработки* потери, поскольку знаки оказываются неспособными схватить первичные внутриспсихические вписывания и покончить с этой потерей благодаря такой проработке – напротив, в бессилии они воспроизводятся снова и снова. Человек в депрессии знает, что он полностью определяется своими настроениями, но он не пропускает их в свою речь. Он знает, что страдает по причине отделения от нарциссической материнской оболочки, но постоянно удерживает свою власть над этим адом, который нельзя потерять. Он знает, что у его матери нет пениса, но при этом постоянно представляет его – не только в снах, но и в своем «освобожденном», «бесстыдном» фактически нейтральном дискурсе, вступая в соревнование, зачастую грозящее смертью, с этой фаллической властью.

На уровне знака расщепление отделяет *означающее* как от *референта*, так и от определяемых влечениями (семиотических) *вписываний*, и обесценивает все эти три инстанции.

На уровне нарциссизма расщепление сохраняет всемогущество и в то же самое время – деструктивность и боязнь уничтожения.

На уровне эдипова желания оно колеблется между страхом кастрации и фантазмом фаллического всевластия, которым наделяется как мать, так и сам субъект.

Повсюду отказ осуществляет расщепления и *лишает жизни* как представления, так и различные формы поведения.

Однако в противоположность психотику депрессивный человек сохраняет отцовское означающее, которое подвергнуто отказу, которое ослаблено, сделано двусмысленным, обесценено, но при этом сохраняется вплоть до прихода асимболии. Пока его не покрывает этот саван, прячущий отца и субъекта в одиночестве немoty, депрессивный человек не теряет возможности пользоваться знаками. Он сохраняет их, но у него они становятся абсурдными, замедленными, готовыми угаснуть, поскольку расщепление проникло в сам знак. Ведь депрессивный знак, вместо того чтобы связывать вызванный потерей аффект, отказывается как от аффекта,

⁵⁶ Ibid.

так и от означающего, признавая таким образом, что субъект в депрессии остается пленником непотерянного объекта (Вещи).

Аффективная первертность больного депрессией

Хотя *отказ от означающего* и напоминает механизм перверсии, следует сделать два замечания.

Прежде всего, при депрессии этот отказ демонстрирует большую силу, чем при первертном отказе, и он затрагивает саму *субъективную идентичность*, а не только *сексуальную идентичность*, поставленную под вопрос инверсией (гомосексуальность) или перверсией (фетишизм, эксгибиционизм и т. д.). Отказ уничтожает даже интроспекции больного депрессией и образует в нем ощущение «пустоты», обесценивания. Умалая себя и разрушая, он устраняет любую возможность объекта, что также является косвенным способом его сохранения – впрочем, именно в неприкосновенном состоянии. Единственные следы объектности, сохраняемые больным депрессией, – это аффекты. Аффект – это частичный объект больного депрессией: его «перверсия» в смысле снадобья, которое позволяет ему обеспечить нарциссический гомеостаз благодаря этой невербальной, неименуемой (и тем самым неощутимой и всемогущей) власти над необъектной Вещью. Поэтому депрессивный аффект – и его вербализация в терапевтическом процессе или же в произведениях искусства – является первертным арсеналом больного депрессией, источником двусмысленного наслаждения, заполняющего пустоту и теснящего смерть, предохраняющего субъекта как от самоубийства, так и от провала в психоз.

К тому же различные перверсии представляются, с этой точки зрения, обратной стороной депрессивного отказа. По Мелани Кляйн, и депрессия, и перверсия уклоняются от проработки «депрессивной позиции»⁵⁷. Однако, кажется, что и инверсии, и перверсии поддерживаются отказом, который не распространяется на субъективную идентичность, нарушая, однако, сексуальную, то есть отказом, который оставляет место для создания (сравнимого с вымышленным производством) нарциссического либидинального гомеостаза посредством аутоэротизма, гомосексуальности, фетишизма, эксгибиционизма и т. п. Эти акты и отношения с частичными объектами предохраняют субъекта и его объект от полного разрушения и вместе с нарциссическим гомеостазом обеспечивают его жизненной силой, противостоящей Танатосу. Таким образом, депрессия заключается в скобки, но ценой зачастую весьма жестокой и тяжело переживаемой зависимости от театра перверсий, где разворачиваются объекты и всемогущие отношения, которые избегают столкновения с кастрацией, экранируя страдание, вызванное доэдиповым отделением. Слабость фантазма, устраняемая отреагированием, свидетельствует о постоянстве отказа от означающего на уровне ментального функционирования при перверсиях. Эта черта объединяется с переживаемой больным депрессией бессвязностью символического, а также с маниакальным возбуждением актами, которые становятся безудержными лишь при условии, что они считаются ничего не значащими.

Часто обнаруживается чередование первертных и депрессивных видов поведения в невротической составляющей депрессивно-меланхолического комплекса. Оно указывает на сочленение двух структур вокруг одного и того же механизма (механизма отказа), работающего в двух разных режимах, связанных с различными элементами субъективной структуры. Первертный отказ не затрагивает аутоэротизма и нарциссизма. Следовательно, они могут мобилизоваться, чтобы создать преграду для пустоты и ненависти. Депрессивный отказ, напротив, затрагивает сами возможности *представления нарциссической связности* и, соответственно,

⁵⁷ См.: Mahler M. On Human Symbiosis and the Vicissitudes of Identification. Vol. I. New York: International University Press, 1968; Джойс МакДугалл проанализировала отказ, осуществляемый в театре перверта (MacDougall Joyce. Identifications, Neoneeds and Neosexualities // International Journal of Psychoanalysis, 1986. 67. 19. P. 19–31).

лишает субъекта его аутоэротического ликования, его «ликующего успокоения». В таком случае остается лишь мазохистское господство над нарциссическими изгибами, осуществляемое непосредственно Сверх-Я, которое обрекает аффект на то, чтобы тот оставался без объекта, пусть даже частичного, и представлялся сознанию в качестве вдовьего, траурного, болезненного. Эта аффективная боль, следующая за отказом, является *смыслом без значения*, однако она используется как экран, защищающий от смерти. Когда же этот экран тоже прогибается, в качестве единственного сцепления или возможного акта остается только разрыв, расцепление, навязывающее бессмыслицу смерти: вызов *другим*, обретаемым таким образом в качестве отвергнутых, или же нарциссическое *утверждение* субъекта, который заставляет признать себя – посредством фатального отреагирования – в качестве того, кто всегда находился вне родительского символического пакта, то есть там, где отказ (родительский или его собственный) заблокировал его.

Таким образом, отказ от отрицания, отмеченный нами в качестве главного момента уклонения от «депрессивной позиции» у депрессивного человека, не обязательно придает первертную окраску этому эмоциональному состоянию. Депрессивный человек – это перверт, который не знает себя: он даже заинтересован в том, чтобы не знать о себе, настолько пароксизмальными могут оказаться его отреагирования, которым, кажется, не может удовлетворить никакая символизация. Верно, что смакование страдания может привести к мрачному наслаждению, которое было известно монахам или которое прославлял сравнительно недавно Достоевский.

Именно в маниакальной наклонности, свойственной биполярным формам депрессии, *отказ* обретает всю свою силу и проявляется особенно ясно. Конечно, он всегда уже присутствовал здесь, но тайно – как скрытный спутник и утешитель печалей, отказ от отрицания выстраивал сомнительный смысл и превращал тусклый язык в ненадежное подобие. Он обозначал свое существование в отвлеченном дискурсе депрессивного человека, который располагает приемом, сыграть на котором не способен, – не доверяйте слишком послушному ребенку и тихому омуту... Но у маньяка отказ преодолевает двойное отречение, которым подкреплялась печаль – он выходит на сцену и становится орудием, выстраивающим экран, который предохраняет от потери. Не довольствуясь созданием ложного языка, отказ теперь воздвигает всевозможные сооружения из заместительных эротических объектов – известна эротомания вдовцов и вдов, разнузданные компенсации за нарциссические травмы, связанные с болезнями или же с увечьем, и т. д. Эстетический порыв, благодаря идеалу и искусственному приему выходящий над обычными построениями, определяемыми нормами естественного языка и банального социального кода, также может участвовать в этом маниакальном движении. Но останься он на этом уровне, и произведение обнаружит свою ложь, оказавшись лишь эрзацем, копией, калькой. Напротив, произведение искусства, которое дает своему автору и читателю истинное возрождение, – это то произведение, которому удастся объединить в искусственном языке, предлагаемом им (в новом стиле, новой композиции, необычайном вымысле), невыразимые волнения того всемогущего Я, что всегда оставляется реальным социальным и лингвистическим порядком в некоем трауре или в положении сироты. Поэтому такой вымысел является если не антидепрессантом, то – по крайней мере – способом выжить, воскресением...

Произвольный или пустой

Впавший в отчаяние становится сверхпроницательным благодаря отмене отрицания. Означающая цепочка, по необходимости являющаяся произвольной, представляется ему ужасной и неприемлемо произвольной – он должен счесть ее абсурдной, так что она не будет иметь никакого смысла. Ни одно слово, ни один объект в жизни не смогут войти в связную цепочку, которая одновременно соответствовала бы определенному смыслу или референту.

Произвольная последовательность, воспринимаемая больным депрессией в качестве абсурдной, равнообъемна потере референции. Больной депрессией ни о чем не говорит, у него нет ничего, о чем говорить – привязавшись к Вещи (*Res*), он остался без объектов. Эта полная и незначащая Вещь является незначащей – это Ничто (*Rien*), его Ничто, Смерть. Пропать, образуемая между субъектом и означаемыми объектами, выражается невозможностью создания означающих цепочек. Однако подобное изгнание обнаруживает пропасть в самом субъекте. С одной стороны, объекты и означающие, которым отказано, поскольку они отождествлены с жизнью, приобретают значение бессмыслицы – язык и жизнь не имеют смысла. С другой стороны, благодаря расщеплению Вещь и Ничто, то есть незначащее и смерть наделяются чрезмерной, неоправданной ценностью. Депрессивная речь, построенная на абсурдных знаках, на замедленных, разбалансированных, заторможенных последовательностях, выражает обрушение смысла в то неименуемое, в которое она – недоступная и прельщающая – погружается ради аффективной ценности, сцепленной с Вещью.

Этот отказ от отрицания лишает языковые означающие их функции, которая заключается в создании для субъекта смысла. Обладая значением в себе, такие означающие ощущаются субъектом в качестве *пустых*. Это обусловлено тем фактом, что они *не связаны* с семиотическими следами (репрезентантами влечений и репрезентантами аффектов). Отсюда следует, что эти архаические психические вписывания, предоставленные самим себе, могут использоваться в проективной идентификации как квази-объекты. Они дают место случаям отреагирования, которые у больного депрессией замещают язык⁵⁸. Порывы настроения, вплоть до оцепенения, охватывающего все тело, – это обращение отреагирования на самого субъекта: мрачное настроение является актом, который не проходит по причине отказа, действующего на означающее. Впрочем, лихорадочная защитная активность, скрывающая безутешную печаль столь многих страдающих депрессией, доходя порой до убийства или самоубийства, является проекцией остатков символизации – эти акты, благодаря отказу лишены своего смысла, трактуются в качестве квази-объектов, выброшенных наружу или же обращенных на субъекта в его абсолютном безразличии, обеспеченном анестезией отказа.

Психоаналитическая гипотеза отказа от означающего у больного депрессией, не исключая обращения к биохимическим средствам, необходимым для восполнения неврологической недостаточности, оставляет за собой возможность усиления идеационных способностей субъекта. Анализируя – то есть растворяя – механизм отказа, которым был скован больной депрессией, психоаналитическое лечение может выполнить действительную «прививку» символического потенциала и предложить субъекту смешанные дискурсивные стратегии, действующие на пересечении аффективных и лингвистических вписываний, семиотического и символического. Подобные стратегии являются действительными контрдепрессивными резервами, которые предоставляются депрессивному пациенту оптимальной интерпретацией в процессе анализа. Кроме того, требуется, чтобы между пациентом и психоаналитиком возникла подлинная эмпатия. На ее основе гласные, согласные или слоги могут быть извлечены из означающей цепочки и заново собраны в соответствии с общим смыслом речи, который психоаналитик смог выявить посредством своей идентификации с пациентом. Именно инфра- и транслингвистический регистр зачастую требуется принимать во внимание, соотнося его с «секретом» и неименуемым аффектом человека, больного депрессией.

Мертвый язык и заживо похороненная Вещь

Поразительное разрушение смысла у больного депрессией – в пределе, самого смысла жизни – позволяет нам, таким образом, предположить, что такой больной испытывает затруд-

⁵⁸ См. ниже гл. III: «Убивать или убиваться», «Мать-девственница».

нение при попытке присвоить всеобщую означающую цепочку, то есть сам язык. В идеальном случае говорящее существо составляет единое целое со своей речью: разве не является речь нашей второй природой? Напротив, высказывание больного депрессией представляется для него чем-то вроде чужеродной кожи – меланхолик является чужаком в своей собственном родном языке. Он потерял смысл – значение – своего родного, то есть материнского языка, поскольку не смог потерять мать. Мертвый язык, на котором он говорит и который предвещает о его самоубийстве, скрывает Вещь, похороненную заживо. Но эту Вещь он не будет высказывать, дабы не предать ее – она останется замурованной в «крипте»⁵⁹ невысказываемого аффекта, схваченной анально, безысходно.

Одна пациентка, страдающая от частых приступов меланхолии, пришла на первую беседу со мной в блузе яркой расцветки, на которой повсюду было написано «дом» [maison]. Она говорила о своих заботах, связанных с квартирой, о снах, в которых она видела дома, выстроенные из разнородных материалов, и об африканском доме, райском месте из ее детства, которое ее семья потеряла в результате драматических событий. «Вы тоскуете по своему дому?» – спросила я ее. «По дому? – ответила она. – Не понимаю, что вы хотите сказать, у меня нет слов!»

Ее речь обильна, быстра, лихорадочна, однако она остается напряженной в своем холодном и абстрактном возбуждении. Она постоянно пользуется языком: «Работа преподавателя, – рассказывает она мне, – заставляет меня постоянно говорить, но я объясняю жизни других, сама я тут не при чем; и даже когда я говорю о своей жизни, ощущение, словно бы я говорила о ком-то другом». Объект ее печали отображается записью, которую она носит в боли своей кожи и плоти – и даже в шелке блузы, которая обтягивает ее тело. Но он не переходит в ее психическую жизнь, он уклоняется от речи или, скорее, речь Анны оставила горе и Вещь, чтобы выстроить свою логику и свою лишенную аффекта, отщепленную связность. Так бегут от страдания, «сломя голову», бросаясь в дела, которые сколь успешны, столь и недостаточны.

Эта бездна, отделяющая у больного депрессией язык от аффективного опыта, заставляет думать о раннем нарциссическом травматизме. Он мог бы развиться в психоз, однако защита со стороны Сверх-Я в действительности его стабилизировала. Необычайный ум и вторичная идентификация с отцовской или символической инстанцией способствуют такой стабилизации. Поэтому больной депрессией оказывается крайне проницательным наблюдателем, денно и ночно следящим за своими несчастьями и болезнями, причем это навязчивая наблюдательность в течение «нормальных» периодов, разделяющих меланхолические приступы, никогда не дает ему возможности воссоединиться со своей аффективной жизнью. Однако он оставляет впечатление, что его символическая броня уязвима, что его защитный панцирь не интроецирован. Речь больного депрессией – маска, красивый фасад, выкроенный в «иностранном языке».

Тон, по которому напета песня

Но, хотя депрессивная речь и уклоняется от фразового значения, ее смысл иссяк не полностью. Порой (как будет видно из приведенного ниже примера) он скрывается в тоне голоса, который нужно уметь услышать, чтобы расшифровать в нем смысл аффекта. Исследования

⁵⁹ Н. Абрахам и М. Торок опубликовали значительное число исследований, посвященных интроекции и формированию психических «крип» в трауре, депрессии и родственных структурах (см., например: Abraham N. L'Écorce et le Noyau. P.: Aubier, 1978). Наша интерпретация, отличная от их подхода, исходит из того же клинического наблюдения, фиксирующего наличие «психической пустоты» у депрессивного человека, которая была отмечена в том числе и Андре Гринном.

по тональной модуляции речи депрессивных больных уже многому научили нас и смогут еще больше рассказать о некоторых из них, которые в своей речи демонстрируют полную бесстрастность, но при этом сохраняют сильную и многообразную эмотивность, скрытую в голосе; но также и о других, у которых «эмоциональное притупление» захватило и тональный регистр, ставший (в параллель к фразовым последовательностям, разрываемым «невосстановимыми эллипсисами») плоским и разбитым паузами⁶⁰.

В курсе психоанализа подобная значимость сверхсегментного регистра речи (интонации, ритма) должна вести психоаналитика, с одной стороны, к интерпретации голоса, и, с другой стороны, – к разбиению обезличенной и безжизненной означающей цепочки, из которой можно будет извлечь скрытый инфразначающий смысл речи депрессивного человека, тающийся во фрагментах лексем, в слогах или фонических группах, подвергаемых странной семантизации.

В ходе анализа Анна жалуется на состояния подавленности, отчаяния, потери вкуса к жизни, которые часто подталкивают ее к тому, чтобы целые дни проводить в постели, отказываясь говорить и есть (анорексия при этом может чередоваться с булимией), так что порой она готова проглотить целую упаковку снотворного, никогда, однако, не переходя фатального порога. Эта интеллектуалка, отлично устроенная в команде антропологов, постоянно, однако, принижает свою работу и свои достижения, называя себя «неспособной», «ничтожной», «недостойной» и т. д. В самом начале курса мы проанализировали те конфликтные отношения, которые были у нее с матерью, чтобы констатировать, что пациентка осуществила настоящее поглощение ненавистного материнского объекта, сохраненного таким образом внутри нее самой и ставшего источником ее гнева по отношению к самой себе и чувства внутренней пустоты. Однако у меня было впечатление или, как говорил Фрейд, контрпереносное *убеждение* в том, что вербальный обмен вел к рационализации симптомов, а не к их проработке (*Durcharbeitung*). Анна подтвердила это мое убеждение: «Говорю, – часто заявляла она, – как будто слова вот-вот кончатся, у меня чувство, что я сейчас выскочу из собственной кожи, однако основание моего горя остается нетронутым».

Эти высказывания я смогла проинтерпретировать как истерический отказ от кастрационного обмена со мной. Но эта интерпретация не показалась мне достаточной из-за интенсивности депрессивных жалоб и значимости молчания, которое иногда воцарялось, иногда же «поэтически» разрывало речь, делая ее временами непроницаемой. Я говорю: «Слова вот-вот кончатся, но их предел – внутри голоса, поскольку ваш голос сбивается, когда вы говорите об этой печали, о которой невозможно сообщить». Эта интерпретация, оценить соблазняющее воздействие которой несложно, в

⁶⁰ Что касается этого второго варианта депрессивного голоса, лишённого возбуждения и тревоги, в нем отмечается пониженная интенсивность, мелодическая монотонность и слабый тембр, для которого характерно малое число гармоник. См.: Hamilton M. A rating scale in depression // *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*. 1960. № 23. P. 56–62; Hardy P., Jouvent R., Widlöcher D. Speech and psychopathology // *Language and Speech* 1985. Vol. XXVIII. Part. I. P. 57–79. Эти авторы, говоря в общем, отмечают уплощение просодических элементов у больных с заторможенными реакциями. Но в психоаналитической практике мы чаще слышим пациента, который больше принадлежит невротической, а не психотической стороне депрессивно-меланхолического комплекса, причем в периоды, следующие за тяжелыми кризисами, когда как раз возможен перенос. В таких случаях мы констатируем определенную игру на монотонности, с низкими частотами и интенсивностями, а также концентрацию внимания на голосовых значениях. Нам представляется, что придание значимости сверхсегментному регистру может «спасти» больного депрессией от полного дезинвестирования речи и наделить некоторые звуковые фрагменты (слоги или слоговые группы) аффективным смыслом, стертым в других частях означающей цепочки (как мы увидим в следующем примере). Эти замечания дополняют психиатрические наблюдения уплощенного депрессивного голоса, не противореча им.

случае депрессивного пациента может оказаться осмысленной, поскольку она пронзает защитную пустую видимость лингвистического означающего и переходит к исследованию *владения* (*Bemächtigung*) архаическим объектом (до-объектом, Вещью) в регистре вокальных вписываний. Итак, выясняется, что в первые годы своей жизни пациентка страдала серьезными кожными заболеваниями и потому, несомненно, была лишена контакта с кожей матери, как и идентификации с образом материнского лица в зеркале. Я делаю вывод: «Не имея возможности касаться своей матери, вы скрылись под собственной кожей, „словно выскакивая из нее“; и в этом тайнике вы заключили свое желание и свою ненависть к ней в звук вашего голоса, поскольку вдалеке вы слышали ее голос».

Здесь мы вступаем в область первичного нарциссизма, в которой формируется образ Я и где образу будущего больного депрессией как раз не удастся утвердиться в словесной репрезентации. Причина в том, что траур по объекту не завершается в этой репрезентации. Напротив, объект словно бы хоронится – и подчиняется (благодаря ревностно сохраняемым аффектам) – и порой именно в вокализациях. Я считаю, что психоаналитик должен доходить в своей интерпретации до этого вокального уровня речи, не боясь стать слишком бесцеремонным. Придавая смысл аффектам, которые считаются тайными по причине владения архаическим до-объектом, интерпретация *признает* одновременно и этот аффект, и тайный язык, которым его наделяет больной депрессией (в данном случае – вокальную модуляцию), открывая ему путь перехода на уровень слов и вторичных процессов. Последние – и язык – до сего момента представлялись пустыми, поскольку были отрезаны от аффективных и вокальных вписываний, но теперь они снова наполняются жизнью, получая возможность стать пространством желания, то есть смысла для субъекта.

Другой пример, извлеченный из речи той же самой пациентки, показывает, насколько видимое разрушение означающей цепочки освобождает ее от отказа, в котором замкнулась депрессивная женщина, и наделяет ее теми аффективными вписываниями, которые она сохраняла бы в тайне, пока не умерла. Вернувшись из отпуска в Италии, Анна рассказывает мне одно свое сновидение. Идет суд, как будто суд над Барби⁶¹: я выношу обвинение, все его принимают, Барби осужден. Она чувствует облегчение, как будто бы ее освободили от возможной пытки какого-то истязателя, но сама она при этом находится в другом месте, все это представляется ей пустым, она предпочитает спать, пропасть, умереть, никогда не просыпаться из болезненного сна, который ее, однако, неумолимо притягивает, – сон «без образа»... Я уловила маниакальное возбуждение в описании пытки, которая мучает Анну в ее отношениях с матерью и порой с ее партнерами, в промежутках между ее «депрессиями». Но я слышу и иное: «Я в другом месте, вижу мучительно-сладкий сон без образа», и думаю о ее депрессивной жалобе на то, что она больна, бесплодна. Я говорю: «На поверхности – истязатели [*tortionnaires*]. Но дальше или в другом месте, там, где таится ваша боль, быть может есть „торсе-ио-родиться/не родиться“ [*torse-io-naître/pas naître*]».

⁶¹ Имеется в виду Клаус Барби (Klaus Barbie, 1913–1991), немецкий военный преступник, несколько раз заочно приговоренный к смерти и в 1987 году – к пожизненному заключению. – *Прим. пер.*

Я разлагаю слово «*tortionnaire*» [истязатель], то есть я его истязую, применяю к нему то насилие, которое я слышу захороненным в речи самой Анны, которая зачастую остается безжизненной, абсолютно нейтральной. Однако это истязание, которое я вывожу на свет слов, происходит из моего стговора с ее болью – из того, что я считаю свое выслушивание внимательным, восстанавливающим, вознаграждающим за ее неименуемые болезни, за черные дыры боли, аффективный смысл которой Анне известен, но не значение. Торс – несомненно, ее собственный, но прикованный к торсу ее матери в страсти бессознательного фантазма; два торса, которые не касались, когда Анна была младенцем, и которые теперь взрываются гневом слов в мгновения стычек двух женщин. Она – *Ио* – желает родиться через анализ, создать для себя другое тело. Но, будучи без вербальной репрезентации приклеенной к торсу матери, она не может назвать это желание, у нее нет значения своего желания. Итак, не обладать значением желания – значит не обладать желанием вовсе. То есть быть пленником аффекта, архаической Вещи, первичных вписываний аффектов и эмоций. Именно там царит амбивалентность, а ненависть к *Вещи*-матери непосредственно превращается в умаление самой себя... Анна подтверждает мою интерпретацию – она оставляет маниакальную тему пытки и преследования, чтобы поговорить со мной о собственном депрессивном источнике. В этот момент она охвачена страхом бесплодия и скрытым желанием родить дочь: «Мне снилось, что из моего тела вышла маленькая девочка, вылитая мать, а я вам часто говорила, что когда закрываю глаза, мне не удастся представить ее лицо, словно бы она умерла еще до того, как я родилась, и увлекла меня за собой в эту смерть. И вот теперь я рожаю, а она оживает...».

Ускорение и варьирование

Однако, отделяясь от репрезентантов влечений и аффектов, цепочка лингвистических представлений у депрессивного человека может приобрести значительную ассоциативную оригинальность, выступающую параллельно к скорости циклов. Двигательная заторможенность больного депрессией может сопровождаться, вопреки мнимой двигательной пассивности и замедлению, ускоренным и творческим когнитивным процессом, что подтверждается исследованиями весьма специфических и изобретательных ассоциаций, создаваемых депрессивными пациентами на основе предложенных им списков слов⁶². Эта гиперактивность означивания особенно явно обнаруживается в сближениях удаленных семантических полей, напоминая каламбуры гипоманьяков. Она равнообъемна чрезвычайной когнитивной проницательности депрессивных людей, но также и неспособности маниакально-депрессивного больного совершить выбор или принять решение.

Лечение препаратами лития, введенное в 1960-е годы датчанином Шу, стабилизирует настроение, как и способность к вербальным ассоциациям, снижая при этом, по всей вероятности, оригинальность творческого процесса, замедляя его и делая его менее продуктивным⁶³. Поэтому вместе с исследователями, проводившими эти изыскания, можно заметить, что литий прерывает процесс варьирования и закрепляет субъекта в семантическом поле одного слова, привязывает его к определенному значению и, вероятно, стабилизирует его в окрест-

⁶² См.: Pons L. Influence du lithium sur les fonctions cognitives // La Presse Médicale. 1963. IV. 2; XII. 15. P. 943–946.

⁶³ Ibid. P. 945.

ности определенного объекта-референта. *A contrario*⁶⁴, из этого исследования (которое, как можно отметить, ограничивается только теми больными депрессией, которые реагируют на литиевую терапию) можно будет вывести, что некоторые формы депрессии являются приступами ассоциативного ускорения, дестабилизирующими субъекта и предлагающими ему уйти от столкновения со стабильным значением или же с фиксированным объектом.

Прошлое, которое не проходит

Поскольку время, в котором мы живем, является временем нашего дискурса, чуждая, заторможенная или рассеянная речь меланхолика заставляет его жить в децентрированной темпоральности. Она не проистекает, она не управляется вектором до/после, он не направляет ее от прошлого к будущему. Массивное, давящее, несомненно травматичное (поскольку перегружено болью или радостью), *одно мгновение* заслоняет весь горизонт депрессивной темпоральности или, скорее, лишает ее всякого горизонта, любой перспективы. Меланхолик, привязанный к прошлому, регрессирующий к раю или аду непреодолимого опыта, оказывается странным воспоминанием: все минуло, словно бы говорит он, но я верен этому минувшему, прикован к нему, так что для меня нет никакой возможной перемены, никакого будущего... Гипертрофированное, гиперболическое прошлое занимает все измерения психической длительности. И эта привязанность к памяти без завтрашнего дня является, несомненно, способом капитализировать нарциссический объект, утаивая его в чертогах замкнутого личного склепа. Эта особенность меланхолического выстраивания времени – существенный момент, на основе которого могут развиваться конкретные нарушения никтемерального ритма, а также специфические формы зависимости депрессивных приступов от конкретного биологического ритма данного субъекта⁶⁵.

Напомним, что идея рассматривать депрессию в ее зависимости именно от *времени* (а не от *места*) восходит к Канту. Размышляя о ностальгии как особой разновидности депрессии, Кант приходит к заключению⁶⁶, что ностальгирующий желает не место своей юности, но саму свою юность, что его желание стремится вернуть *время*, а не *вещь*. Фрейдовское понятие *психического объекта*, на котором фиксируется больной депрессией, включено в ту же концепцию: психический объект является фактом памяти, он относится к потерянное время «в прустовском стиле». Он – субъективная конструкция, и в этом качестве принадлежит памяти, конечно, неуловимой и преобразуемой в каждое мгновение актуальной вербализации, но при этом исходно располагающейся не в физическом пространстве, а в воображаемом или символическом пространстве психического аппарата. Тезис, гласящий, что объект моей грусти – не столько эта деревня, эта мама или этот любовник, которых мне не хватает здесь и теперь, сколько неочевидное представление о них, сохраняемое мной и выстраиваемое мной в темной келье того, что впоследствии становится моей психической могилой, сразу же размещает мое болезненное состояние в воображаемом. Депрессивный человек, обитающий в таком усеченном времени, по необходимости оказывается жителем воображаемого.

Эта языковая и темпоральная феноменология, как мы уже несколько раз подчеркивали, приоткрывает незавершенность траура по материнскому объекту.

⁶⁴ С другой стороны, напротив (лат.). – Прим. пер.

⁶⁵ В числе других, более технических, исследований, см. психопатологическое размышление Г. Телленбаха: Tellenbach H. De la mélancolie. P.: P. U. F., 1979.

⁶⁶ См.: Kant E. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, цит. в: Starobinski J. Le concept de nostalgie // Diogène. 1966. № 54. P. 92–115. Также можно сослаться на другие работы Старобинского о меланхолии и депрессии, которые проясняют наш подход с исторической и философской точки зрения.

Проективная идентификация или всемогущество

Чтобы лучше объяснить это, нам следует вернуться к понятию *проективной идентификации*, предложенному Мелани Кляйн. Наблюдения за совсем маленькими детьми, а также за динамикой психоза позволяют предположить, что наиболее архаическими психическими операциями являются проекции хороших или плохих частей того, что еще-не-я, в объект, еще не отделенный от него, с целью не столько атаки на другого, сколько овладения им, всемогущего обладания. Это оральное и анальное всемогущество, возможно, еще более интенсивно именно потому, что некоторые биопсихологические особенности препятствуют желаемой в идеале автономии Я (психомоторные затруднения, нарушения зрения или слуха, различные болезни и т. д.). Поведение отца или матери, слишком заботливых и тревожных, то есть поведение, выбирающее ребенка в качестве нарциссического протеза и постоянно захватывающее его как элемент, способный восстановить психику взрослого, усиливает стремление грудничка к всемогуществу.

Итак, семиотическим средством, которым выражается это всемогущество, является довербальная семиология – жестуальная, двигательная, голосовая, обонятельная, тактильная или слуховая. Первичные процессы управляют подобным выражением архаического господства.

Всемогущий смысл

Субъект *смысла* уже дан, даже если субъект лингвистического *значения* еще не сконструирован и требует для своего возникновения депрессивной позиции. Уже присутствующий смысл (который, как можно предположить, поддерживается ранним тираническим Сверх-Я) создан из ритмов и жестуальных, слуховых, фонических диспозитивов, в которых удовольствие артикулируется сенсорными сериями, являющимися первой дифференциацией по отношению к возбуждающей и одновременно грозящей Вещи и к аутосенсуальному смешению. Так в организованном разрыве артикулируется континуум тела, готового стать «собственным телом», осуществляющим наиболее раннее, первичное, подвижное, но могущественное господство над эрогенными зонами, смешанными с до-объектом, с материнской Вещью. То, что на психологическом уровне представляется нам всемогуществом, *является силой семиотических ритмов, которые выражают интенсивное присутствие смысла у до-субъекта, пока еще не способного к означиванию.*

То, что мы называем смыслом, – это способность *infans'a*⁶⁷ регистрировать означающее родительского желания и по-своему включаться в него, то есть демонстрируя семиотические навыки, на которые он способен в данный момент своего развития и которые обеспечивают его (на уровне первичных процессов) господством над «еще не другим» (*Вещью*), включенным в эрогенные зоны этого семиотизирующего *infans'a*. Однако этот всемогущий смысл остается «мертвой буквой», если не инвестирован в значение. Именно работа психоаналитической интерпретации будет искать депрессивный смысл в склепе (в который печаль заключила его вместе с матерью), дабы его связать со значением объектов и желаний. Такая интерпретация свергает всемогущество смысла и равнозначна проработке депрессивной позиции, от которой субъект с депрессивной структурой отказался.

Можно вспомнить, что отделение от объекта открывает начало так называемой депрессивной фазы. Теряя мать и опираясь на отрицание, я восстанавливаю ее в качестве знака,

⁶⁷ «Infans» (лат. *infans, infantis*, от «in» [«не», «без»] и «fari» [«говорить»]) – термин Шандора Ференци, означающий ребенка, который еще не говорит. – Прим. пер.

образа, слова⁶⁸. Однако всемогущий ребенок не отказывается от двусмысленных удовольствий параноидально-шизоидной позиции, предшествующей проективной идентификации, во время которой он размещал все свои психические движения в неотделенном другом, находившемся с ним в состоянии слияния. Либо этот ребенок отказывается от отделения и траура и вместо перехода к депрессивной позиции и языку укрывается в пассивной, а на деле – в параноидально-шизоидной позиции: нежелание говорить, скрывающееся за некоторыми задержками в развитии речи, в действительности является навязыванием всемогущества и, соответственно, первичного владения объектом. Либо же ребенок находит компромисс в результате *отказа* от отрицания, которое в обычном случае ведет к проработке траура путем выстраивания символической системы (и, собственно, выстраивания языка). Тогда субъект замораживает как свои неприятные аффекты, так и все остальные; он сохраняет их в *психической внутренности*, раз и навсегда сформированной в качестве одновременно пораженной и недоступной. Это болезненная внутренняя сторона, созданная из семиотических мет, но не из знаков⁶⁹, – невидимое лицо Нарцисса, тайный источник его слез. В таком случае стена отказа от отрицания отделяет волнения субъекта от символических конструкций, которые он тем не менее осваивает, и порой даже с блеском, благодаря как раз этому удвоенному отрицанию. Меланхолик со своим внутренним тайным горем – это потенциальный изгнанник, но также интеллектual, способный на создание блестящих, но абстрактных конструкций. *Отказ от отрицания* у больного депрессией является логическим выражением всемогущества. Посредством своей пустой речи он гарантирует себе овладение – недоступное, поскольку «семиотическое», а не «символическое» – архаическим объектом, который, таким образом, остается для него самого и для всех загадкой и секретом.

Печаль удерживает ненависть

Приобретенная таким образом символическая конструкция и субъективность, построенная на подобном основании, могут легко обрушиться, когда опыт новых разлук или новых потерь оживляет объект первичного отказа и сокрушает всемогущество, которое было сохранено ценой этого отказа. Языковое означающее, бывшее простым подобием, в таком случае сносится волнениями как плотина океанской волной. Как первичное вписывание потери, сохраняющееся по эту сторону от отказа, аффект затопляет субъекта. Мой аффект печали является последним, пусть и *немым*, свидетелем того, что я вопреки всему все же потерял архаическую вещь, удерживаемую всемогущим захватом. Эта печаль является последним фильтром для агрессивности, нарциссическим удержанием ненависти, которая не обнаруживается, но не благодаря моральной или заданной Сверх-Я стыдливости, а по той причине, что в печали Я все еще остается смешанным с другим, оно несет его в себе, интроецирует свою собственную всемогущую проекцию и наслаждается ею. Горе в таком случае оказывается негативом всемогущества, первым и первичным признаком того, что другой от меня уходит, но и того, что Я, однако, не соглашается с тем, что его бросили.

Этот всплеск аффекта и первичных семиотических процессов сталкивается с броней, описанной нами в качестве чуждой и «вторичной» – броней языка больного депрессией, а также с символическими конструкциями (полученными знаниями, идеологиями, верованиями). Обнаруживаются замедления и ускорения, которые в обычном случае выражают ритм подчиненных первичных процессов и, несомненно, биопсихологический ритм. У дискурса

⁶⁸ Segal H. Op. cit.

⁶⁹ По вопросу различия семиотического/символического, см. нашу «Революцию поэтического языка» (Kristeva J. Révolution du langage poétique. P.: Seuil, 1974), а также: гл. I, сноска 27. Жан Ури отмечает, что меланхолик, лишенный Большого Другого, ищет непроницаемые для расшифровки и все же живые ориентиры, доходя до «точки ужаса», где он встречается с «безграничным» (см.: Oury Jean. Violence et mélancolie // La Violence, actes du Colloque de Milan. Paris, 1978. 10/18. P. 27, 32).

больше нет возможности разбивать или тем более видоизменять этот ритм – наоборот, он сам теперь изменяется этим аффективным ритмом, иссушаясь в итоге вплоть до немоты (как в результате замедления, так и посредством ускорения, ведь оба этих явления делают невозможным выбор того или иного действия). Когда творческая борьба с депрессией в области воображения (искусства, литературы) наталкивается на этот порог символического и биологического, мы замечаем, что повествование и рассуждение начинают подчиняться первичным процессам. Ритмы, аллитерации, сгущения оформляют передачу сообщения и информации. Поэтому не свидетельствует ли *поэзия* и стиль вообще, несущие подобную тайную отметку, о депрессии, пусть и (временно?) побежденной?

Итак, мы приходим к рассмотрению по крайней мере трех параметров, необходимых для описания психических и, в частности, депрессивных видоизменений: *символических процессов* (грамматика и логика дискурса), *семиотических процессов* (смещение, сгущение, аллитерации, ритмы голоса и жестов и т. д.) и той их подкладки, которая представлена *биопсихологическими ритмами* передачи возбуждения. Каковы бы ни были эндогенные факторы, обеспечивающие эти биопсихологические ритмы, и сколь бы ни были сильны фармакологические средства, способные задать оптимальный уровень передачи нервного возбуждения, остается проблема первичной и особенного вторичной интеграции возбуждения.

Именно в этом месте психоаналитик может начать свою работу. Именованное удовольствия и неудовольствия во всех их мельчайших хитросплетениях – причем внутри ситуации переноса, которая видоизменяет первичные условия всемогущества и симулируемого отлучения от объекта – остается единственным имеющимся у нас способом приблизиться к той парадоксальной конституции субъекта, которой является меланхолия. Действительно парадоксальной, поскольку субъект ценой отрицания уже открыл себе двери символического, чтобы закрыть их для себя движением *отказа*, оставляя за собой неименуемое наслаждение всемогущим аффектом. Тогда, быть может, у психоанализа есть шанс изменить эту субъективацию, наделить дискурс силой, преобразующей флуктуации первичных процессов и даже биоэнергетические передачи, способствуя лучшему объединению семиотических волнений в символическом строении.

Западная судьба перевода

Полагание существования изначального объекта, даже некоей Вещи, которую надо переводить и выразить после завершения траура, – не это ли фантазм теоретика-меланхолика?

Определенно – изначальный объект, это «в-себе», которое всегда остается тем, что требуется переводить, последняя причина переводимости, существует только посредством и для уже конституированных субъекта и дискурса. Именно потому, что переведенное уже дано, переводимое может воображаться и полагаться в качестве избыточного или несоизмеримого. Полагание существования этого иного языка или же некоего «иного» самого языка, даже внешнего языку, не является по необходимости приемом лишь метафизики и теологии. Этот постулат соответствует тому психическому требованию, которое, возможно, западной метафизике и теории довелось представлять – или, быть может, им хватило на то смелости. Психическое требование, которое, конечно, не является универсальным: например, китайская культура называется не культурой переводимости вещи в себе, а скорее, повторения и варьирования знаков, то есть переписывания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.